

Деревцоцвет

Литературно-художественный альманах для юношества



№1(14)
2003

Первоцвет

№ 1 (14)' 2003

Литературно-художественный альманах для юношества

Основан в 1998 году

Учредитель

Областная юношеская библиотека
им. И.П. Уткина

Главный редактор

Анна Стародубцева

Редколлегия

Лидия Середкина
Александр Лаптев
Александр Попов
Лина Иоффе
Светлана Зубакова
Регина Присяжникова

Обложка

Сергей Элоян

Рисунки в тексте

Маргарита Марцинечко

Компьютерная верстка

Нина Мазутова

Адрес редакции:

664011, г.Иркутск, ул. Чехова, 10

тел. 27-07-93, 20-43-01

E-mail: redaktor@youlib.irk.ru

В номере

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

Александр Попов. Ты пришел в этот мир 3

СТРАНА ПОЭЗИИ

<i>Алина Боровская</i>	5
<i>Любовь Штефюк</i>	8
<i>Юрий Харлашкин</i>	10
<i>Ольга Кулибаба</i>	11
<i>Екатерина Кожевникова</i>	11
<i>Антон Солдатенко</i>	12
<i>Ирина Мокарева</i>	41
<i>Андрей Андреев</i>	42
<i>Анастасия Васильева</i>	43
<i>Ирина Арефьева</i>	44
<i>Петр Неупокоев</i>	45
<i>Марина Васильева</i>	45
<i>Анна Сиротюк</i>	46

МИР ПРОЗЫ

<i>Андрей Винокуров. Сон</i>	14
<i>Алексей Головкин. Волшебный городок</i>	47
<i>Анастасия Сергеева. Чудеса в деревне Бурой</i>	49

ДАТА

<i>Анатолий Кобенков</i>	36
--------------------------------	----

ГАЛЕРЕЯ

<i>Регина Присяжникова. Сотворение мира</i>	40
---	----

ГОСТИНАЯ

<i>Елена Шаталина</i>	57
<i>Юлия Спасовская</i>	59
<i>Ася Косичкина</i>	61
<i>Юлия Дмитрияди</i>	61
<i>Сергей Бригидин</i>	62
<i>Анна Тихонова</i>	62
<i>Роман Веснин</i>	63
<i>Липпет</i>	64
<i>Сэтавр</i>	64
<i>Юс</i>	65
<i>Анастасия Максимова</i>	65
<i>Анастасия Сосновская</i>	66

ЗОЛОТОЙ ФОНД

<i>Иосиф Уткин</i>	67
<i>Елена Жилкина</i>	72

Разговор с читателем

ТЫ ПРИШЕЛ В ЭТОТ МИР...

Вы когда-нибудь задумывались над вопросом — зачем человек живет, зачем он пришел в этот мир? Да, тяжелые темы! Как подступиться к ним?!

Но, может быть, не надо утруждать себя нелегкими вопросами, а жить так — как бабочка, к примеру: сутки-двое порхает, радуется свету белому и — нет ее, будто и не было никогда. Но человек думающий, с живой, отзывчивой душой, в какой-то очень важный для него день может сказать себе или близкому человеку: «Я пришел в этот мир, чтобы...»

Было бы странно и грустно, если бы все люди как-то однозначно, одинаково продолжили эту мысль. Жизнь каждого человека уникальна и неповторима. Каждый торит свою тропу, утверждаясь на ней как личность, творец. Порой забредаем в непроходимые дебри, и кто-то отступает, возвращается на знакомую, более легкую стезю, а другой отчего-то решает, что бездорожье — его дорога, его судьба. В Библии просто сказано: «Каждому — свое». Но как найти, распознать среди соблазнов и перепутий это «свое» — единственное, верное? Как важно уже в юные годы не заблудиться, не сбиться, не угодить в колесо — да, да, в то самое колесо, в котором бегают, в сущности, никуда не прибегая, одураченная, сбита с толку белка. Разумеется, кого-то она смешит, развлекает. Но попробуйте-ка вы, как она, изо дня в день по одному и тому же кругу бежать, однако при этом оставаться на месте! Как важно в юности задать себе правильный вектор движения, развития, становления. Но если молодой, только-только вступивший в большую жизнь человек не будет задумываться над смыслом и значением происходящего вокруг, если он безропотно, послушно пойдет туда, куда ему укажут, куда подтолкнут, а еще ужаснее — запихают в это пресловутое беличье колесо, — что тогда? Важно самому ответить на этот вопрос.

«Я пришел в этот мир, чтобы... заработать кучу денег... купить «накрученный» компьютер... объехать на джипе весь земной шар... съесть вагон «Сникерсов» — конечно, конечно, никто столь примитивно и просто-душно не скажет. Но ведь мы видим сплошь и рядом, что человек беспощадно ограничивает круг своих интересов и стремлений. Одна из западных поп-групп 60-х годов с ироничной, издевательской страстью исполняла песню «Я, мне, мое». Напомним: она о том, что человек хочет жить ради вещей, денег, наживы, каких-то эгоистичных, чаще мелких интересов. «Я, мне, мое» — словно бы девиз ограниченной личности. Но вот человек, который всю жизнь стремился приобрести как можно больше вещей, не заботился о других людях, а думал исключительно о своей драгоценной персоне, постарел, умер, и вещи, которые он накопил, которые лелеял, которыми гордился, ради которых забывал

о близких людях, оказываются никому не нужными, потому что не модны, ветхи, испорчены. И их выбрасывают на свалку. Зачем же жил этот человек? На этот вопрос важно ответить самому!

Мысль, выраженная художественным образом, сцеплением метафор, канвой сюжета, — может ли она в современной жизни помочь человеку, юноше определить свой выбор, свой путь? Мы, взрослые, пожившие, тертые и гнутые жизнью, говорим вам — может! Жизнь человеческая всегда была нелегкой и сложной, но даже в роковые минуты испытаний люди обращались к высокому художественному слову, проверенному временем, очищенному от всего наносного, случайного, и сами писали художественно, чтобы глубже и шире увидеть оком жизни, чтобы поддержать слабого, чтобы укрепить свою веру, надежду, любовь. Доброе, честное, правдивое художественное слово — сила, способная изменить мир к лучшему. Мы не будем вас, дорогой читатель, с банальной занудностью призывать больше читать; мы вас еще раз просто спрашиваем: зачем вы пришли в этот мир?

Убедительного, как бы взвешенного ответа, уверены, вам никто не даст, кроме вас самих. На одной чаше весов будет лежать ваш ответ, а на другой — ваша совесть, ум и честь. Знайте: от этого сокровенного ответа зависит ваше счастье, ваш путь земной.

Александр Попов

Стирана поезии



Алина Боровская

С 1997 года обучалась в Курской духовной семинарии, в иконописном классе.

В 2000 году принимала участие в росписи Троицкого храма в г. Байкальске.

Стихи пишет с двенадцати лет. Основная тема — размышления о высоком предназначении творчества, чаяния о возрождении духовной культуры русского народа.

Живет в Иркутске.

Печально падает в ноги
Красными листьями время —
На синие реки — дороги,
Под монастырские стены.
Не беспокойтесь речами,
Все слова ваши знаю отныне.
Лучше всего в молчанье
Молитва к Небесному Сыну.

В миг падения,
В час отчаянья,
В день сомнения,
В ночь безверия —
Всхлип души твоей
умирающей.

Ветры толкают в спину,
Стужею губы сушат.
Умоли, Богородица, Сына,
Чтобы он остывшие души
Обогрел восковыми свечами.

В миг крещения,
В час венчания,
В день причастия,
В ночь успения.
В век духовного
воскресения.

Мудра неразделенная любовь...
Черед настал ей снова появиться —
Наверное, для того, чтоб морем слов
К Христу я возжелала обратиться.

Сквозную рану в сердце залечу.
И равновесие души приобретаю,
Горячим лбом я прикоснусь к плечу
Того, кто обо мне не забывает.

И прошепчу в церковной тишине:
Возьми меня под светлый Свой покров,
Взыщи меня, я пребывала вне,
Да окрылит меня Твоя Любовь.

...Куда уйти от мыслей о тебе?
Мне эта осень чудо сотворила:
Твое я вижу отражение в воде —
Твои слова листва мне проронила...

И каждое письмо, и каждый стих,
Что по ночам мне птицы диктовали,
Не для других я рифмовала их —
Тебе единому всегда адресовала...

О чем мне горевать и слезы лить?
Горячий воск скрепил свечу с ладонью,
Могла ли я мечтать вот так любить?!
Достойна ли любимой быть Тобою?!

Песок Палестины. Вода Иордана.
Тысячелетия в них отразились.
И строки — за солнцем — с востока на запад —
Несут правосудие, мудрость и милость.

Какую найти мне сердечную клятву?
Смогу ли вместить — или только помыслить —
Что значит Слово и что может Святость,
И вправе ль я лика дотронуться кистью?

Я мыслила Тебя в молитве утренней,
Дыханье пред иконой затаю.
Ждала Тебя в усталом путнике,
В полете молнии и шорохе дождя.

Во время Благовеста с колоколен,
В крошечной тишине ночной...
Мне не дано познать Святую волю,
Раз до сих пор не свиделась с Тобой.

Не разрывайся же, душа, на части —
Что без Тебя я, Свете неба?
Я встретилась с Тобой в причастии,
Узнала в преломленье хлеба.

* * *

Как никогда, сегодня холодна —
Самой себе я становлюсь на стражу.
Мне глубина незримая видна —
Твоя душа — нетронутая пряжа.

Нет, не дерзну я что-нибудь спрясти,
Пусть я могу, хочу, люблю, умею —
Мне только предстоит перекрестить
Тебя, когда я за тобой закрою двери.

ИРКУТСКУ

Многоплачевно небо в эти дни,
И снег не снег, а ледяная каша.
Мне грустно, когда гасятся огни
Родного города, которого нет краше.

Размыты перекрестки и мосты,
Огни реклам, соцветья светофоров,
Как долететь, доплыть или дойти
Мне до тебя, мой милый сонный город?

Могу ли ожидать я помощь Свыше?
Мой путь домой — три с половиной дня.
О город! Не гаси огней, ты слышишь!
Твои кварталы в сердце у меня.

* * *

За белым узором окна
Дворник сгребает снег.
Я пробудилась от сна.
От звуков, от мыслей — к весне!

Смелый луч, пронзивший стекло,
Позолотил мою прядь.
Господи! Мне светло!
Благослови день начать!

Откуда же мне сие:
Прииди ко мне, весна?!
На белоснежном листе —
Крест моего окна.

* * *

В том краю, где солнце уже село,
И недавно выпал первый снег
Что меня так сладко обогрело,
Так надолго — вера? — человек?

Почему с надеждою ищу я
Там, на горизонте, блеск креста?
И какие мысли, нити, струи
Снова возвращают в те места?

Знаю — мне, как этой серой птице,
Не лететь в тот край, но я молю —
Дай, Господь, увидеть снова лица
Тех людей, что как родных люблю.

Что со мною — набегают слезы?
Ведь и здесь есть православный храм.
Отче мой — дожди, снега, морозы
Лишь добавят искренность словам.

Тем словам, что я пошло однажды
На другую сторону земли...
Господи, спаси меня от жажды —
От моей немислимой любви.

Любовь Штефюк

*г. Иркутск, студентка Байкальского
экономического университета,
I курс, журналистика*

ЕСТЬ

Есть на свете много разных
Вещей мелочных и классных,
И красивых, и прекрасных,
Безопасных и опасных,
Есть и ветер, есть и шторы,
Мысли, взгляды, разговоры,
Есть у нас фотоальбом,
Есть напротив и наш дом;

Шевеленье и качанье,
Тупость, сны и пониманье,
Есть ковер — себе висит,
Угнетает его вид.
Есть в столе полно бумаг,
Есть, и нет, и может — так,
Есть конфеты, есть метели,
Есть на свете (в самом деле!)
Все, что в жизни вы хотели.

Есть заботы, увлеченья,
Есть на свете настроенье,
Есть цветы и оксаны,
Дураки и ветераны,
И зарплата, и стремленье,
И труба, и провиденье,
Смех, желанья, топот, месть,
Целый мир на свете есть;
Есть системы и Земля,
Есть, представьте, даже я.

ТЫ, КАК И ВСЕ

Ты, как и все,
Но не каждый, как ты,
В синей весне
Золотые мечты.
В розовом цвете
И с запахом роз
Сердце из светлых искрящихся слез.
Ты, как и все,
Ты как он и она,
Но не нужна без тебя мне весна.
Примет дорога железных колес
Сердце из светлых искрящихся слез.

ДЕНЬ ПРОЗРЕНИЯ

Как закат опускает мечты,
Так рассвет возрождает надежды.
В сонных травах чужие следы
И на душах святые надежды.
По губам научились читать
Те, кто слышать не могут о счастье,
В эту ночь непростительно спать
И приветствовать злое ненастье.
Этой ночью увидят глаза,
Что не видели дальше порога.
Их прозрят синевы образа
И ведущая в небо дорога.

Сирена поет

НЕ СМОЖЕШЬ ЗАБЫТЬ

Фразы, как руки, ложатся на плечи.
Ресницы, как крылья,
Бьют по глазам.
Не сможешь забыть ты
Тот сказочный вечер
И волю не дашь
Этим горьким слезам.
Проснешься под утро
И с чувством утраты
Потянешься к солнцу,
Махнешь небесам,
А сердце твое
Словно сковано в латы,
Считает века по песочным часам.

Юрий Харлашкин

г. Иркутск, лицей № 3, 11 класс

РАСКРОЙ ДУШУ

Раскрой душу, оглянись —
Кто-то вдруг увидит это.
Только ты мне не божись,
Будто ты не видел света.
Раскрой душу и пойми:
Излияния, советы —
Это глупости одни,
Это горькие конфеты.
Раскрой душу, но не плачь.
В жизни всякое бывает.
В жизни много неудач.
Кто любил, конечно, знает.
Раскрой душу, только знай:
После счастья холод будет,
После холода вновь май.
Такова судьба всех судеб.
Раскрой душу и закрой —
Кто-то вдруг увидит это.
Постесняйся. Слышишь вой?
Волки тоже ждут рассвета.

Ольга Кулибаба

г. Иркутск, школа № 3, 10 класс

КОМУ-ТО...

Немного осталось — посыплется снег
Кому-то на слезы, кому-то на смех,
Немного осталось, немного — чуть-чуть,
Кому-то на радость, кому-то на грусть,
Покроют снежинки замерзший Иркутск,
Слезы на щеки, слезы на грусть,
Закончится осень, наступит зима,
Кому-то законы, кому-то беда,
Кому-то на счастье, кому-то на зло,
Кому-то не очень, кому — повезло,
Кому-то в подушку, кому-то без «но»,
Кому-то игрушка, кому-то кино,
Кому-то прохлада, кому-то жара,
Кому-то привычка, кому-то беда.
Кому-то направо, кому-то вперед,
Кому-то налево, и наоборот,
Кому-то на север, кому-то на юг,
Кому-то любимый, кому-то лишь друг,
Кому-то на запад, кому на восток,
Кому перемена, кому-то урок,
Кому-то на слезы, кому-то на смех,
На черную землю посыплется снег,
Кому-то на радость, кому-то на грусть
Покроется снегом продрогший Иркутск...

Екатерина Кожевникова

г. Иркутск

* * *

Я встретила тебя — его —
Незаменимого — избыв.
Судьба, циркачка в Шапито,
Смеялась, зубы обнажив.

Я встретила его, когда
Ее похитил жадный рок.
Душа, далеская звезда,
С мольбой глядела на восток.

Я встретила ее, себя
Растратив в суетном миру.
Под шепот ветра, шум дождя
Дрожа ромашкой на юру.

Екатерина Кожевникова

Тот незнакомец, что сорвал
Ромашку рано поутру...
Кого вчера он потерял:
Невесту, мать или жену?

* * *

Мокнут в сквере афиши.
Люди ходят в пальто.
Дождь трезвонит по крыше,
По щекам, по авто.

Я стою на балконе
И немного грущу,
А звонок мой изводит
Тот, кого я впускаю.

Дверь раскрою: входи же:
Ты до нитки промок.
Как незванный, унижен,
И как я одинок.

Антон Солдатенко

ИГУ, I курс, математический факультет

НА ПЛАНЕТЕ ДАЛЕКОЙ...

На планете далекой давным-давно
Рыбаки расставляли сети.
На планете далекой давным-давно
Бушевал необузданный ветер.

По велению молний хохотала гроза,
Где-то там, на далекой планете.
И чудесные розы питала лоза.
И рождались прекрасные дети.

На планете далекой давным-давно,
Где-то там, на далекой планете,
Людям было тепло, людям было светло,
На планете далекой
Давным-давно...

RACHELBEL

Canon

Я узник скрипичной башни.
Скрипичное сложили кирпичики.
И вовсе сейчас не страшно
Глядеть глазами птичьими.

Скрипичным ключом открою
Серебряные оковы.
И чувства мои со мною,
И мысли мои готовы.

Взлетаю, взлетаю, мой друг,
Иной судьбы не приемля.
Скрипичный сомкнулся круг,
И птицы поют вокруг,
Дуэтно-хрустальной трелью!

И я наблюдаю свыше,
Как люди темноволосые,
Словно в капканах мыши,
Засыпанные вопросами...

И я начинаю сказку,
От смерти к жизни, и наоборот.
Срывая с себя маску,
Лечу от земных забот...

СИНЕСТЕТИК

Окраска звука, чувство краски,
И ноты цвет — живу как в сказке.

Печаль солена и желта.
Любовь и музыка — жива.

И между зим царит зима,
И между лет поет она.

Искрится зеленью тревога,
Как под колесами дорога.

Скользящих ягод аромат
И серый мой безвкусный взгляд.

Но сладок миф о Музе строгой
И памяти моей дорога.

Сирена поэт

Мир прозы



Андрей Винокуров — актер. Закончил Иркутское театральное училище. Работал в драматическом театре им. Н. П. Охлопкова и в театре юного зрителя. Сейчас — выпускающий редактор передачи «Утренний коктейль» на «АС Байкал ТВ». Основные увлечения: литература и изготовление мебели своими руками. Живет в Иркутске.

Андрей Винокуров

СОН

Посвящаю другу Григорию

Меня зовут Виктор Матвеев-Степнодольский. Этот псевдоним я придумал еще в театральном училище. Больше из шутки, еще больше из желания подчеркнуть свою неординарность и зачатки таланта, еще больше для того, чтобы прикрыть развивающийся комплекс неполноценности, еще больше... продолжать?

Студенчество мое было бурным! А у кого оно было тихим? Целенаправленно возвращая в себе творческие начала, я не забывал и о романтических. Что в условиях моей подверженной психики было не совсем разумно. Точнее, совсем неразумно.

Предмет моей страсти иссушал меня, не задумываясь, выжимал все соки. Я часто слышал до этого, что «любовь зла...», но чтоб настолько? С грехом пополам и с высохшим сердцем я доплелся до выпуска. Все друзья жалели меня, корили: «Что ты делаешь? Кого ты нашел?!» — и гладили по спине. Я все более и более раскисал от жалости к себе.

Дело кончилось петлей. На счастье — неудачно. Веревка оборвалась — спасибо восточным производителям. Все вокруг перепугались и бросились меня спасать. А я,

не пьянея, глотал водку через большую трахею, швыркал разбитым носом и думал о том, что несчастье тоже возвращает человека. Жалость к себе самому — возвращает.

И я решил бежать в Кузнецк. Конечно, можно было бы убежать и в Москву, но кому я там нужен с разбитым носом и больной трахеей? А в Кузнецке, областном центре, 300 000 населения, с единственным на всю область театром, мне обещали комнату, зарплату и главные роли!

Комнату я получил в общежитии, не спящей ночами в пьяном бреду. Зарплата обесценилась экономическими реформами. Вино-водочный завод закрыли на реконструкцию, приходилось пить всякую дрянь. А главные роли?..

У местного мэтра режиссуры, Михаила Иваныча Зилина, человека-горы с огромными лупами вместо очков, была любимая фраза, которой он обрезал все вопросы и предложения актеров: «Молодой человек, вы не в материале».

— Но ведь мне здесь надо...

— Молодой человек, вы не в материале. Выполняйте мои задачи. Адуев приезжает в Петербург продавать свои идеалы!

— По какой цене?

Взаимопонимание терялось, накапывала депрессия, ее приходилось заливать плохой водкой. Было стыдно выходить на сцену «продавать свои идеалы».

— Алфавит легче сыграть, чем этот гениальный опус, — сказал как-то старый народный актер. А «мастера эпизода» любил повторять перед выходом:

— Большие художники писали широки-ми мазками... Пошел сдавать мазок!

После спектакля «бросались под танк» — так называлась процедура покупки пале-ной водки у таксистов. Народный, скиды-ваясь с нами на пузырь, просил:

— Ребята, только налейте мне сразу ста-кан, и все. Больше пить я не буду. Не могу мензурками...

Мы честно наливали ему — стакан с го-рочкой, себе — по рюмочке. Он молча вы-пивал и молча слушал наши недоуменные разговоры:

— Что же получается, чему нас учили — все фигня? Тренинги, цели, задачи, собы-тия, петелька-крючок? Атмосфера, чтоб се...

— Это же невозможно сыграть: «прода-вай свои идеалы! Как?

— А мне он сказал: «Эпатируйте ее! Эпа-тируйте!» Это в каком смысле?

Взрывы эмоций зависали паузой, и в тишине кто-нибудь говорил:

— Да неужели я настолько бездарен?!

Его бросали убеждать в обратном. Убеждения заканчивались стандартно:

— Давай лучше по второй выпьем! — начинали разливать, и здесь народный по-давал свою вторую реплику:

— А! Налей и мне тоже!

Народного ему дали за роль Владимира Ильича, еще в семидесятых.

— Послушай, Борисыч, — перекидыва-лись мы на него, — неужели мы не правы? Неужели так и надо, чтобы никто ничего не понимал? Неужели так всегда было? А?

— Было-то оно по-разному. Наш глав-ный, например, из прошлого театра как ушел?

— ?

— Да актеры собрались, вынесли вместе с креслом Михайла Иваныча на централь-ное крыльцо и выкинули... при всем чест-ном народе!

— Так нам что? Тоже выкидывать?

— Не поможет. Там был Сыромятинск, а здесь — Кусаевск...

Все замолкали, накупившись в пол, и после тяжелой паузы профессионально

опять же вступал Борисыч, не зря ему на-родного дали:

— У меня, ребята, кошка сдохла... Заб-ралась за стиральную машинку и сдохла... Давай помянем?

Пили много и без закуски. Закуска за-бирает хмель и финансы. На утреннюю ре-петицию опаздывали все, кроме Борисыча. С нами боролись, вызывали на ковер. Пос-ле очередного разбора полетов Серега Ба-чурин вышел из кабинета директора на удивление окрыленным:

— Сказали, если брошу пить — дадут главную роль!

Серега когда-то закончил среднюю те-атрашку и сейчас учился на заочном актер-ском в Сыромятинском институте — все хотел схватить перспективу за хвост. Десять лет он сидел в Кусаевске без единой реп-лики. От тоски начал поддавать — число реплик урезали в минуса. И вот теперь — возможность! Первая за десять лет!

Серега бросил пить. Администрация сдержала слово, пошла навстречу и дала главную роль... зайчика-попрыгайчика в новогодней сказке. По театру зашелестело: «Сорвется!.. Сорвется!..»

Но нет, Серега не развязал. Месяц про-ходил на репетиции как огурчик. Провел всю новогоднюю компанию: с 15 декабря по 15 января, по три спектакля в день. Да как! Его сцены смотрела вся труппа из-за кулис замороженно, была в них настоящая боль и преодоление, трагедия маленького забитого зайчика... надрыв...

15 января, после третьего спектакля, Се-рега берет бутылку, в одиночку выпивает на кухне, смотрит в окно, и ему кажется, что по центральной улице с оркестром идет Михал Иваныч Зилин, наш главный, соб-ственной персоной. В чем есть — в трусах и в тапках — Серега прыгает со второго эта-жа в сугроб и бежит за фантомом — бить морду.

После того как с Сереги сняли приступ белой горячки, из театра его уволили. На рынке сейчас. Грузчиком. Если жив еще.

Вот такая лебединая песня...

О чем бишь я? Да! А мы продолжали друг другу плакаться в пьяном угаре:

— Я бездарность! Я бездарность!

Что бы хоть кто-то сказал:

— Брось, Витя! Вспомни, как ты здесь вот эту сцену сыграл? А в этом... как его?.. спектакле?.. Ты талант, Витя! А как ты на стул прыгаешь в «Аз и ферт»! Ха-ха! Умора!

И ночью. В общежитии. На разваленной кровати, выделенной театром из бутафор-

ского цеха — вся в бумажных розочках. Сидишь с полуспущенными штанами, смотришь расфокусированным взглядом в окно. В голове шум! Шум! В нем, как в камышах, плутают полумысли: кому верить?.. Бездарность?.. Талант?.. Вот она — провинциальная болезнь богемы. В обе стороны — исход летальный.

Но иногда... (Господи, как бы я хотел начертать после этой фразы что-либо действительно неожиданно потрясающее!)

Но иногда в оступевшем внутреннем мире что-то сжималось в предчувствии. Тогда я долго сидел в пустом и темном зрительном зале, смотрел на сцену, одетую в шифон театральных сумерек, по которой двигались миражи моей фантазмагории. В этом видении не было проблем со светом и фонограммой, актеры не болели ленью, и пожарник не орал на пиротехников. Сюжета в этой пьесе тоже не было, так как драматург и режиссер вместе с директором отсутствовали по уважительным причинам. Здесь правили сумбур и хаос карнавала, ярких костюмов, отточенного мастерства и легкой импровизации, никто никого не учил: ни актеры — зрителей, ни критики — актеров, и может быть, поэтому постепенно становилось легко...

Угасали вспышки фейерверков, воображаемые осветители выкручивали лампы из софитов, из-за кулис в последний раз выглядывал Хаос в костюме Арлскина с длинным носом из папье-маше и закатиисто смеялся, удаляясь. Мой взгляд постепенно возвращался к звездочкам пыли пустого зала.

После этого даже пить не хотелось — не помогало. Я шел домой и ложился спать.

Белая комната. Прямо под открытым окном стоит белая армейская панцирная кровать, заправленная белым войлочным одеялом. Белые занавески полощутся на ветру и ласкают спинки кровати. За окном город, чистый, как будто нарисованный цветными карандашами на бумаге. Белое солнце светит с белого неба. Я стою на пороге и понимаю, что это — внутренности моего сна. Но так продолжается недолго, потому что я начинаю забывать себя прежнего и вспоминать себя нового. Кисти рук, плечи и шея болят от хождения на костылях, в позвоночнике сидит осколок. Этот осколок у меня удалили уже давно — год назад, после чего я частично перестал чувствовать ноги, но осколок ощущал всегда.

Сегодня особенный день. Сегодня ружь-

нул мой самообман о том, что я стану здоровым. Госпиталь для военнослужащих с тяжелыми ранениями — это то же, что и дом престарелых, что и богадельня, что и интернат для брошенных детей. Наверное, поэтому все вокруг подчеркнуто белое и раздражающе чистое.

Пока корячусь до кровати, вспоминаю «себя», молодого призывника, «зелень пузатую» в хлябающих голенищах сапог, с тонкой шеей в болтающемся воротнике и с дурацко-горделивым отношением к автомату, как к подарку от Деда Мороза. «Дед Мороз в горах Афгана! Ять!» — остановился, выгнал «зеленого» из памяти: «Ненавижу память. С сегодняшнего дня памяти нет. Есть только белый потолок и панцирь кровати», — упал в подушку, костыли загремели по кафелю. Дыхание — равнодушное. Голова — пустая. Веки тяжелеют, опускаются. В мозгах выключается свет.

Волной подкатил к телу горячий песок пустыни и давит на позвоночник, высасывая из него боль. Открыл глаза.

Барханы. Закатное небо. Низкие, почему-то коричневые облака. Я закопан по горло. Странно, но чувствую, что ноги болтаются в пустоте. Справа и слева замечаю таких же закопанных людей: кто — по шею, кто — по пояс; и так до самого горизонта. Неожиданно те, что вдаль, начинают нырять в песок, процесс этот приближается ко мне цепной реакцией и уходит за спину. Это так странно и удивительно, что я как замороженный продолжаю оглядываться по сторонам, ожидая, что будет дальше. На дальнем обресе дюн появляется и начинает медленно спускаться длинная колонна измученных людей маленького роста. Они идут по трое, связанные одной веревкой. Впереди колонны на уставшей лошади едет человек, закованный в доспехи с шипами, в них он больше похож на огромного морского рака, да и в правой руке у него оружие, напоминающее клешню. «Клешня», болтаясь, щелкает при каждом шаге лошади. В середине колонны два таких же «рака», только полегче и пешие, в руках у них копыя, наконечники которых похожи на скелеты рыб. В хвосте — такой же, на лошади. Колонна длинная, и хвост ее появляется из-за дюн, когда первая лошадь чуть не наступает мне на голову. Всадник спит, а связанные замучены так, что ни на что не обращают внимания. Я настолько удивлен, что молчу и не двигаюсь.

Меня кто-то сильно дергает за ноги, и

я скрываюсь в песке, как суслик в норке. Песок лезет в глаза, в уши, в нос; такое ощущение, что я попал внутрь песочных часов и сейчас проваливаюсь вниз. И действительно, я очутился в небольшой невысокой норе, где можно было только сидеть. Сверху еще некоторое время продолжает сыпаться песок. Я отплеываюсь, тру глаза, ковыряю в ушах. Тот, что дернул меня — маленький человечек с короткими руками, ногами и большой, лохматой головой — сердито зашипел мне на ухо: «Ты что, идиот, глаза разинул — конвой ни разу не видел? Захотел, чтобы нас всех повязали? Ползи за мной!» — и вдруг развернулся и юркнул в узкий проход, я продирался за ним. Ход был тесный, но песок эластично раздвигался в стороны и опять сходил за моими пятками.

Впереди что-то прошипело и блеснуло в темноте. Мужичок резко остановился. Я ткнулся головой в его ноги. «Нашли», — прошипел он дрожащими пересохшими губами. Сверху из песка торчал наконецник рыбьего копыя. «Пропаду я из-за тебя, олуха», — начал уже подвывать человечек, заворожено уставившись на наконецник. И тут второе копые, прошипев в песке, воткнулось в его ногу и потащило мужичка наверх. Я схватился за древко в надежде удержаться. Мужичок орал от боли. Наконецник надежно впился в бедро. Снаружи дергали вверх, я дергал вниз, мой горе-спаситель орал еще сильнее. Ну, блин, один в один — рыбалка, только на людей!

Я навалился сверху на ногу мужичка в надежде сломать древко, но невероятной силы рывок выдернул нас на поверхность. Последнее, что я увидел: веревку, тянущуюся от древка копыя к луке седла и блеск алчных глаз «ракообразного» из-под забрала. Удар сзади выключил продолжение.

Странное ощущение — лежать без сознания во сне второго уровня...

Постепенно издалека в полную тишину вступает бессильное подвывание человека, страдающего от боли. В воображении слева направо пробежал мальчик лет шести, остановился и стал стучать железным прутом по листу жести. Звук искажается, медленно превращаясь в оглушительную пульсацию крови у барабанных перепонок. Я открыл глаза.

Лежу на коричневом песке. Мой «защитник» стонет рядом. Нога его чуть пониже паха перетянута самодельным жгутом. Из-под грязной тряпки сочится кровь. «Рако-

образные» сидят чуть в стороне — едят и пьют. Мы в общей связке с толпой, молча, не шевелясь наблюдающей за чужой трапезой. Очень похоже на привал мясников, которые ведут ягнят на бойню. М-да... почему похоже именно на это?

Охранники заметили, что я очнулся, начали собираться. Криком, ударами и пинками подняли колонну. Замыкающий верховой закинул вьюк с провизией и водой на круп своей лошади и встал в арьергарде. Головной двинулся вперед, а пешие, продвигаясь от начала к хвосту колонны, ударами бичей заставляли пленных вставать и идти. Когда один из них поравнялся со мной, я попытался разглядеть его глаза под забралом, он замешкался с занесенной плетью и хлестанул моего раненого товарища.

Три дня мы двигались по пустыне без еды, утоляя жажду в редких озерцах, больше похожих на лужи. Мой дружок сильно сдал, губы его запеклись и потрескались, нога гноилась. В первый день, когда я попытался взвалить его к себе на горбушку, в четверке начался переполох. Сначала подбежали пешие и стали бить меня тупыми концами копий, выкрикивая что-то на своем непонятном языке. Замыкающий, подъехав к нам, набросил на меня аркан и повалил на землю. Пешие еще поколотили меня для проформы, покричали вопросительно: «Жа?» — потом сняли аркан и отошли. Я встал и снова взвалил испуганного мужичка себе на спину. Процедура повторилась. Удары у нападающих были слабые и удовлетворяли только самих нападающих, меня же заусило, и после третьей стычки мне «позволили» нести раненого на горбушке.

Странная это была процессия. Все пленные, да и охранники тоже были на голову ниже меня, и я чувствовал себя великаном. Женщины мало чем отличались от мужчин: такие же морщинистые, лохматые и оборванные. В колонне были и дети, их не связывали, как всех, и они понуро брели за взрослыми, держась совсем уж крохотными ручками за лоскутья родительской одежды, сами напоминая своих родителей лохматостью, оборванностью и какой-то тупой покорностью судьбе в измученных, уже не детских глазах. Признаком их возраста было лишь то, что на редких привалах они сбивались в кучку, подальше от охраны, и рылись в песке. Один раз я заметил среди них кареглазую девчущку, которая с любопытством наблюдала за мной. Я улыбнулся ей. Она удивилась моей улыбке, как чему-то давно забытому, глаза ее расширились и от

Мир прогов

этого стали похожими на песок пустыни под полуденным солнцем, потом она спряталась за спины других детей.

Наш путь проходил во всеобщем молчании. Калякала только охрана на своем табарбарском. Еще на первом ночном привале я обратился к моему «защитнику»:

— Слушай, тебя как зовут?

Мужичок долго смотрел на меня оторопело, потом ответил вопросом на вопрос:

— Чего?

Настало время моей паузы.

— Ну... зовут? Имя. Имя твое как?

Мужик беспомощно оглянулся по сторонам. Все, кто был рядом, делали вид, что спят, дальние нас не слышали, охрана ни о чем не подозревала, чавкала свой провиант. Мужик, наверное, с рождения так не шевелил мозгами, как в эту минуту:

— Что ты говоришь-то, я не понимаю? — вот это был тупик...

— Меня мама, когда родила, Виктором назвала, а тебя как?

— Зачем? — разговор шел вязко, как через песок.

— Ну так... чтоб от других отличаться.

— Зачем?

— Ну, брат, тебя заклонило! — взорвался я.

Охрана повернула головы от костра в нашу сторону. Мы сделали вид, что легли, и опять перешли на шепот:

— Ты что же, не знаешь, что такое имя?

— Не-а.

— Так как же вы друг к другу обращаетесь?

— Зачем?

— Опять!.. Ну, надо, допустим тебе что-нибудь от соседа, ты как его попросишь?

— Скажу: «Дай».

— Просто так: «Дай»?

— Ну.

— А если... ну-у... он спиной стоит?

— Крикну: «Эй!»

— Фу ты.... А если он в толпе стоит, все же обернется?

— Так я же только ему в глаза смотрю.

Дальше моих мозгов не хватало. Я повернулся на спину. Песок приятно грел натруженный позвоночник. В редких прорывах облаков мелькали одинокие звезды.

— Виктор.

— А?

— У нас нет имен. Ни у кого, — мужичок повернулся на бок и затих. Погружаясь в черноту короткого небытия без картинок, я вдруг обратил внимание, что он не стонет.

Пробуждение происходило в несколько этапов:

1. Фон пустой магнитофонной ленты.

2. Тепло в позвоночнике от копчика до макушки.

3. Физическое ощущение глаз, век и подрагивающих ресниц, цепляющихся волосками друг за друга.

Полное соответствие короткого сна на лежанке для физиопроцедур. Звякнул дребезжащий таймер, я открыл глаза — вверху было светло-коричневое небо, парил орел. Повернул голову на звук — по коричневому песку ко мне шел ракообразный, побрякивая бляшками доспехов. Я закрыл глаза и повернулся на правый бок, но окружающий мир проявлялся все отчетливее, хруст песка приближался.

Беспардонная лапа в железной перчатке схватила мое плечо и потянула. Досада неудачника, обида на судьбу и себя, ненависть к несправедливости — все, что давно копилось во мне, нарывало, не имея выхода, вдруг лопнуло как пузырь с водой. Я с разворота, наугад вломил локтем в сторону вражеского забрала. Голова в шлеме ударилась об одно плечо, потом о другое, прозвенев «динь-динь», колени бойца задрожали мелко, обмякшее тело повалилось на песок.

И наступила абсолютная тишина. Слышно было только, как ветер шелестит перьями орла высоко в небе. Люди, оцепенев, смотрят на мертвого, потом их взгляд переходит чуть в сторону — на меня летит всадник с копьём наперевес.

Время стало густым и тягучим. Фонтаны песка из-под копыт осыпаются медленно. Отстранившись, хватаю наконечник копья сбоку и направляю его в землю. Гарда выбивает всадника из седла, и тот, описав дугу надо мной, с хрустом падает. Прслеживая его полет, вижу второго всадника и прыгаю в сторону. Здесь-то и напомнила о себе веревка, которой я был связан с остальными, дернув меня за руки. Извиваясь, как кошка в полете, падаю на спину. Наконечник копья сверкнул около моих глаз, инстинктивно поднимаю руки, защищаясь. Мощный удар лошадиных ног цепляет веревку и тащит меня и моего соседа. Лошадь спотыкается, зарываясь мордой в песок, наездник соскальзывает с нее. Лошадь, утробно хрипя, делает кувырок через ломающую шею и тяжело падает всем телом на седока. Последний охранник останавливается на полпути, медленно вонзает в песок меч в форме клешни и пятится за бархан.

Тишина. Сильно ломит от рывка руки, веревка обожгла запястья до крови. Люди смотрят, насторожившись и не шевелясь... в небо. Наученный опытом, поднимаю голову. Сверху, грациозно выписывая круги, спускается огромный орел, на его груди висит человек!

Ногами он упирается в сгибы орлиных лап. Тело его крест-накрест, в поясе, плечах, на бедрах прочно перехвачено сыромятными ремнями и притянута спиной к груди орла, так что человек наполовину утопает в перьях птицы. На голове плотный кожаный шлем, закрывающий все лицо, со слюдяными вставками на глазах и клапаном на уровне рта. В руках петли вожжей, они пропущены через ошейник птицы и привязаны к железным крюкам в ноздрах орла.

Мое внутреннее напряжение достигает предела, в котором тебя переполняет не страх, не удивление, а только чувство глубокой досады и раздражения: «Да что ты будешь делать! Раз от разу не легче! И эти еще — вместо того чтобы помочь, рты поразявили и сидят как пни!»

Бросаюсь к ближайшему мечу, разрезаю путы, хватаю еще и копьё и, вооружившись, начинаю поворачиваться вокруг оси так, чтобы орел всегда был перед глазами. Когда он снижается достаточно, мы с «летуном» встречаемся взглядами, изучаем друг друга: он медленно накручивает круги над нами, я поворачиваюсь к нему с копьём и клешней в руках. «Летчик» делает плавное движение вожжами вперед и в стороны, и орел, взмахнув огромными крыльями, обдав нас кучей пыли, набирает высоту, исчезает. «Взвейтесь, соколы, орлами! — бешено ору я вслед от испуга, который уже переполняет каждую мою клеточку. — Орленок, орленок, взлети выше солнца!»

Пыльные буруны еще долго оседают, среди них оседаю и я, ощущая всем телом непосильность проделанной работы. Шелест песка, остывающие удары сердца, стихающий ритм дыхания и выплывающая на поверхность мысль: «Что же дальше?»

Станный народец из всей сегодняшней истории делает единственный вывод — можно устроить привал. Для них здесь не было боя, не валяются рядом трупы, для них все равно, что рабство, что свобода, только рефлекс: «Можно устроить привал».

«Мамочка моя, — пульсирует в моей голове, — да зачем же это мне снится? Почему они такие тупые? Бежать же надо по домам! Всеобщее отупение! Дебилизация всей страны!»

— Народ! — кричу охрипшим как песок голосом. — Народ! Вас зачем на свет призвели? Чтобы вместо баранов пасти? Все! Свобода! Все по домам!

Хоть бы головы повернули, обормоты!

Достаю у мертвого охранника кинжал, иду к ближайшему пленнику, тот недоверчиво начинает пятиться, насколько хватает веревки. Беру его за чуб, зажимаю голову между колен, чтоб не дергался, и перерезаю путы.

— Все! Пора домой!

— Они не пойдут, — передо мной стоит кареглазая девочка, которую я заметил третьего дня. Она старается быть серьезной, и это выглядит курьезно на фоне чумазого личика, всклокоченной шевелюры, больших испуганных зрачков и хрупких ушей, чуть отставленных в стороны, тоненьких, как осенний листок, с просвечивающимися капиллярами. Я не сдержался и хмыкнул умиленно. Девочка поджала губки и еще более настойчиво повторила:

— Они не пойдут. Человек на орле — это разведчик, значит, город уже близко, и бежать смысла нет. Новые стражники придут сюда быстро, такую большую группу найдут еще быстрее, но в плен второй раз они не берут. Будут резать. Всех.

— Значит, надо прижать зад, ждать, что всех здесь перебьют? — я присел перед девочкой, заглянул в ее глаза. Детства там не было давно.

— Мы не бежали. А тебе надо.

«Ягнята», — подумал я, встал, поймал лошадь, подвел к моему дружку раненому, разрезал путы. Чтобы предотвратить удивленные отнекивания, воскликнул бодренько:

— Слушай! А давай ты будешь Агафonom? А то все — эй да эй. Агафон... по моему, симпатичное имя? Я тебя не оставлю, дружок, — долг платежом красен. В седле сидеть сможешь? — Агафон пожал плечами. Насобирав обрезки веревок, я приторочил его за пояс к седлу. Проверил сумки охраны, взял провианта, основное отдав толпе: «Ага, прям как Иисус с пятью хлебами — герой с дырой!» Оружие забрал все, даже пытался шлем нахлобучить, не удалось. Перед тем как двинуться в путь, оглянулся на пленных. Солнце садилось за дальние барханы, заливая их тяжелым темным золотом. Люди сидели, опустив головы, то ли молясь, то ли медитируя, уснув, упав в забытие? Непонятно.

— Эй! — сотни голов, как по команде, повернулись ко мне. Сердце в груди сжалось и затрепыхалось быстро-быстро у са-

Мир свободы

мого горла, поэтому второе слово получилось не таким громким, как первое: — Пока...

— Дяденька, — дернула за рукав кареглазая, — возьми меня с собой!

Через круп лошади было видно, как с другой стороны неба загораются первые звезды...

— Родители пойдут пешком.

— Их нет здесь.

— А где ж они?

— Не знаю.

— Тогда прыгай, — я подхватил девочку и усадил в седло перед Агафоном. В широко раскрытых восторженных глазах отразился звездный луч.

— Только смотри! Я с собой безымянных не беру!

— Как это? — изумилась она.

— Вопросы не принимаются. Будешь у нас Принцессой. Подробности потом.

Тем временем пленные расплзлись по группам, насколько хватало веревки, и рыли ямы.

— Зачем это они?

— Мертвых хоронить надо, — сипло ответил Агафон, — по-человечески...

Первое время выходили по старым следам конвоя. Звезды были большие, низкие и, казалось, отражались в песке малыми искрами, редко рассыпанными тут и там, как бисер на грязном ковре. А когда мы выходили на гребень, то можно было по звездным отражениям угадать волнистую гладь безбрежного песчаного океана. Я хотел спросить о Луне, но, побоявшись ответных вопросов, промолчал.

К утру Агафон стал внимательно присматриваться к барханам.

— Дай копые, — попросил, кряхтя, сполз с лошади и поковылял в сторону, низинкой, пробуя древком песок то тут, то там, как таежник на болоте. В одном месте копые вошло легко, как в воду. Тогда Агафон пошел кругом, определяя границы этого места. Завершив исследование, побурчав себе под нос и почему-то глянув по четырем сторонам на угасающие звезды, он воткнул копые и заковылял к нам.

— Виктор, — мое имя он проговаривал, спотыкаясь между «т» и «о», как будто пробуя на вкус неизвестное, — Викт'ор, лошадь создание глупое, сама не пойдет. Надо ее разогнать и с ходу пройти чуть правее древка. Да и морду замотать, чтоб не ржала. Мало ли. Вдруг погоня рядом. А ты, — обратился он к девочке, сняв

свою куртку и подавая ей, — замети наши следы с гребня бархана и до входа. Хоть и буран будет скоро, но осторожность никогда не помешает.

Непонимание было моим основным состоянием последних дней. За это время оно притупилось, осело куда-то в область желудка чуть подрагивающим ртутным шариком, так что иногда я путал его с чувством застаревшего голода. На смену неразрешимым вопросам пришла тихая, застенчивая уверенность в естественности происходящего, а следовательно, и в закономерности действительности. Объясняясь по-русски: если Агафон живет здесь — ему и барабан на грудь. Хотя абсолютно непонятно: зачем разгонять, зачем замечать, что за вход и что там впереди, чуть правее древка?

Веревкой из походного рундука бойцов удалось замотать морду лошади быстро — с третьего раза. Она дергалась, поводила ушами, вращала огромными зрачками, нервно переступала, упираясь передними ногами, и испуганно поджимала задние, иногда ударяя ими землю от досады, что некого лягнуть. Я держал ее правой рукой под уздцы, левой обхватив шею, поджимал то одну, то другую ногу, чтобы не попасть под копыто, и старался нашептывать ей нежные признания в любви, уверения в вечной преданности и добрых намерениях. За что получал удары жестким ухом по глазам и щеке. Агафон прыгал перед мордой на здоровой ноге, придумывал новые, более действенные узлы на петле захвата и отдергивал руки от клацающих зубов. На вершине бархана Принцесса, превратив боевое задание в детскую игру, увлеченно заметала следы.

Пока я успокаивал, гладил лошадь по шее, целовал нервную морду и разговаривал с ней, как со старой подругой (чрезмерно уверенно), Агафон доковылял до копыя и призывно замахал рукой. Я прыгнул в седло, почему-то оглянулся на четыре стороны, как Агафон, и с выдохом ткнул копыями бока Марфутки (за всю эту сцену и душевные беседы как-то незаметно родилось имя лошади). Марфа, не ожидавшая с моей стороны резкой перемены отношений, присела на задние и обиженно с низкого старта понеслась с места в карьер. В последний момент я успел схватиться за луку седла, но левая нога потеряла стремя, и мне стоило огромных усилий восстановить равновесие, подпрыгивая и извиваясь. Делая вдох, чтобы потом сделать облегченный выдох, я успел краем глаза заметить с ле-

вой стороны Агафона и копые — выдох облегченным не получился.

Марфутка вдруг оступилась и ушла из-под меня вниз, зарывшись по корпус в песок и вздрагивая хлестко шеей и крупом. Ноздри ее раздувались, трепетали, из горла рвался связанный веревкой крик. Все это я видел, пролетая над ней вниз головой. Марфутку, бедную, я рассмотрел скрупулезно, что же вытворял сам — сообразить так и не смог. Это было то ли тройное с поворотом на триста шестьдесят сальто-мортале, то ли тройной тулуп с зажатой в руке уздечкой. Наверное, все-таки тулуп, потому что грохнулся я как валенок — тупо и... мягко, сразу по пояс увязнув в песке. У лошади к этому моменту на поверхности оставалась только голова, которой она обреченно подергивала. Я тоже плавно уходил вниз. Резким фэйсерверком пронеслись в голове все ужасики про зыбучие пески, и, не на шутку испугавшись, я заорал:

— А-а-агафон!

— Тише ты! Не ори, олух царя небесного!

Я был уже по грудь в песке, раскинув руки, а ноги, там, внизу, болтались в пустоте.

— Не держись! Не держись! — шипел Агафон на краю зыбучих песков, потом махнул рукой удрученно. — А! Жди, сейчас помогу! — и вместо того чтобы протянуть копые мне, ткнул его в песок по локоть и полез за ним вперед головой, смешно извиваясь задницей, как червяк. Принцесса наблюдала за нами, сидя на склоне, сдерживала смех, зажимала ладошкой рот, другой рукой живот, краснела и выкатывала глазки.

Две руки схватились за мои лодыжки и сильно дернули вниз. Проваливаясь, я вдруг отчетливо вспомнил начало сна и стыдливо покраснел. Я понял значение слов: вход, правее копыя, дом.

Это помещение, освещенное слабой лампадкой на стене, оказалось намного больше того, в котором я был в первый раз. Но описывать его я буду чуть позже, потому что в данный момент с потолка свисали четыре ноги существенной проблемы. Лошадь за копыта не схватишь и не дернешь. Лошадь сама тебя может этими копытами... дернуть. Мало не покажется.

Походив со мной на пару вокруг ног, почесав сокрушенно затылок, Агафон вздохнул обреченно, промолвил: «Прости, моя хорошая, подлеца и пьяницу!» — и ткнул копыем в пах Марфутке. Резкий лошадиный взмах выбил копые из его рук,

но он же и освободил круп лошади. В результате вырисовалась такая картина: вставшая на дыбы лошадь с головой, по плечи ушедшей в песчаный потолок. Почувствовав опору, Марфутка еще больше стала волноваться, и это пошло ей на пользу. Взмахами передних ног и изгибами корпуса она освободила голову и ошалело забегала по нашей пещере (по-другому и не назовешь).

Растопырив руки, мы пытались поймать ее либо загнать в угол, приговаривая ласковые слова и запоздалые извинения. Постепенно катавасия эта успокаивалась. В конце концов, веревка с морды была снята, и, уже не испуганная, но еще и не успокоенная, Марфа пошла обнюхивать углы. Мы присели под лампадкой у стены. Агафон, раскачиваясь, потирал раненую ногу. Я тоже устал, молчал и следил за передвижениями лошади в густом сумраке пещеры. По ее всхрапам и редким проблескам на потной спине можно было понять, что помещение было примерно десять на десять метров со скругленными углами и довольно низким потолком, не дававшим лошади полностью поднять голову, но и не сильно сковывающим ее движения.

— А почему потолок не осыпается? — не выдержал я.

— Не знаю. Сколько себя помню, всегда так было. Он становится выше или ниже, но не осыпается. Открывается иногда — это страшнее, потому что дом тогда засыпают барханы.

— А если не открывается — не засыпают?

— Дома плавают по песку. Есть бархан — дом на вершине. Нет бархана — дом в низине. Но всегда в одном месте.

— А это чей дом?

— Не знаю... Их конвой увел.

— Почему конвой? Может, сами ушли?

— Нет. Они бы тогда дом закрыли.

— Как это?

— Слушай! Не задавай вопросов, на которые нет ответа!.. Хозяин выходит, гладит вход рукой, и дом закрывается. Песок — как и везде. Ходи туда-сюда, топай, танцуй, прыгай — что хочешь делай... Помогли ей зайти, — обрезал он, увидев появившиеся из потолка ручонки Принцессы. Я подошел и потянул руки.

— Буря начинается, — сказала она, спрыгивая с моей помощью на пол. И, как бы в ответ на ее слова, сверху, снаружи раздалось приглушенное шипение. Марфа испуганно затеребила ушами, оглядываясь. Все

Мир через

мы невольно собрались у лампадки, вслушиваясь в переменчивость внешнего звука.

— Странно. У вас ветер шипит, а у нас — воет...

— Где это?

И я ответил после долгой паузы:

— Не задавай вопросов, на которые нет ответа...

Сверху доносились то шипение очковой кобры, то треск гремучей змеи, то вдруг отрывисто-агрессивные выдохи испуганной кошки.

— Буран, — прервал Агафон наше молчание и, обратившись к Принцессе, указал на лошадь. — Копытом роет. Не зеленый ли песок нашла? Посмотри, пожалуйста.

Девочка двинулась в дальний угол и заинтересованно присоединилась к лошади, своими маленькими ладошками бесстрашно помогая большому копыту рыть ямку в полу. Через минуту она вернулась с полной горстью песка — зеленого, как молодая трава на весенних газонах. Агафон обрадовался, поспешно стал разматывать тряпки на своей ране, приговаривая:

— Свезло, как свезло! Теперь живем! Это ж надо было, как свезло! Виктор, посмотри в рундуке, может, бинты есть?

Был один пакет и чистые тряпки. Когда я принес, Агафон накладывал на порядком загноившуюся рану удивительный зеленый песок.

— Это лекарство. Очень редкое, — пояснила мне Принцесса. — «Кровь пустыни».

— Зеленая?

— У гор она, например, черная, твердая и маслянистая...

Когда Агафон сформировал песчаные нашлапки, мы прикрыли их тряпками и притянули бинтом, и маленький мужичок откинулся облегченно на спину, стал удовлетворенно постанывать, чувствуя, наверное, усиленное освобождение от боли. Девочка шепнула мне:

— Если все будет хорошо — завтра к вечеру встанет.

— Завтра?!

— Виктор, — отвлекся от своего стономурлыканья Агафон, — дай копьё.

Он повернулся на бок, взял протянутое оружие и замысловатым движением отсоединил наконечник от древка. Древко оказалось трубкой, на противоположном конце которого изначально находился полый чугунный шарик с множеством квадратных дырочек, раньше я воспринимал его как противовес либо декоративное украшение.

Агафон протянул древко мне и сказал девочке:

— Покажи ему...

Принцесса пошла по пещере, напряженно всматриваясь то в потолок, то в пол, иногда разгребая маленькие углубления. Остановившись там, где потолок был заметно темнее, она сказала мне:

— Здесь, — поставила трубку вертикально, набалдашником вверх, добавила: — Надо воткнуть в землю.

Я навалился всем телом и загнал трубку наполовину в пол. Девочка понюхала набалдашник и сказала:

— Еще.

Я, кряхтя, вогнал трубку еще немного.

— Еще, — сказала она, понюхав. Я навалился уже сверху и начал дрыгать ногами на весу. Принцесса несколько раз останавливала меня, принюхивалась, наконец, почти у самой земли, сказала: «Хватит». Достала из кармана багровый камень и стукнула вскользь по шарик. Брызнули искры, и вокруг шара вспыхнул язык газового пламени. Я отпрянул от неожиданности. Стало заметно светлей.

Мы лежим. Уставшие ноги хотят взлететь над землей, скрутить с себя намотанное за ночь расстояние, как пружину старого будильника; пружина сходит медленно, виток за витком, ударяя пульсацией вен, от этого кажется, что ноги лежат выше головы, хотя это не так. Легкое ощущение полета. Агафон отвечает на мои вопросы.

Он долго отнекивался, отмалчивался, убегал в дальние углы, злился, пытался оправдываться:

— Что такое правда? Как я могу знать всю правду, когда я вижу и слышу только отсюда и здесь? А что происходит за дверью, за углом, за горизонтом?.. Мы сидим в яме, ты можешь сказать, что наверху: день или ночь?.. Во! А меня спрашиваешь про страну! Почему то да почему это! И ждешь правды. «Дай-ка мне все по полочкам!» А что я?.. Суслик... Тушканчик... Вынырнешь из норки по пояс, повертишь головой туды-сюды и нырк обратно. От пыли! От облачка пыли за ближайшим барханом!.. Так что правды от меня не жди, правды нет, и не так это вовсе, а как на самом деле — не знаю... Не мое это дело... не мое... — Агафон замолчал надолго, опустив голову, потом вздохнул. — Не задавай вопросов, на которые тяжело ответить...

Лампадка затрещала и погасла. Огонь в очаге заметно поубавился.

— Вечереет, видать, — сказал на это Агафон. — Ночью весь огонь уходит, — и через паузу: — Да. В этом году раки суетятся что-то. Конвоев намного больше стало, ребенка какого-то ищут.

— Ночью огня нет, — вдруг раздался голос Принцессы, — потому что подземный газ ходит за солнцем, как прилив на море. Я видела, — она говорила из темного угла, очаг угасал, можно было только различить блеск ее глаз. И еще добавила: — А конвой ищут меня. Это из-за родителей.

— Кто они?..

— Боги.

Ну! Тут бы меня понесло, будь я новым модным фантастом! И сияющие мечи, и огненные колесницы, и крылья белые за спиной. И про себя, конечно, обязательно, что я расправил накачанные плечи, стукнул гулко кулаком по мощной груди и гордо поднял квадратный подбородок. Но нет! Я всего лишь сон свой записываю, можно сказать: репортаж с места событий, документальное кино... почти. И ничего нельзя изменить.

Девочка подошла ближе и попросила:

— Дяденька, мне к морю надо, на запад. Помогите дойти.

Мне почему-то вспомнился анекдот, где девочка просила незнакомца: «Дяденька, помогите мне через кладбище перейти. Я покойничков боюсь!» — «Чего же нас бояться-то?» А еще подумалось, что все равно делать нечего, и я сказал:

— А зачем тебе к морю?

— Не знаю... надо...

— Вот нога у Агафона заживет, и пойдем. Ты же говоришь, что завтра уже заживет? Агафон, пойдешь с нами?

Агафон лупал глазами и молчал. Лошадь, оттопырив брезгливо губы, швыркала сквозь сжатые зубы из ямки зеленую жижицу. Огонь пыхал в последних конвульсиях, и вот уже в темноте можно было видеть только раскаленный чугунный шарик с квадратными дырками.

Шли мы ночами. Агафон пытался мне объяснить, как по гребням определять стороны света, но у меня в голове вертелось только, что стороны света — это днем. А ночью? Стороны тьмы? Я спросил у него. Он понял и замолчал не солоно хлебавши.

Марфа, на ходу кивая головой, мокрыми губами гладила мне плечо или подталкивала сзади. На ней спиной друг к другу сидели Агафон и Принцесса и неустанно смотрели в небо. Лирика здесь была ни при чем. Мы боялись разведчиков. Когда звез-

ды начинали мигать в ритме орлиной тени, все, включая Марфу, падали на песок и лежали недвижно. Сдавленно перешептывались, если подозревали, что тревога ложная.

— Странно это все, — сказал я, лежа на песке в одну из ночей. Звезды уже не мигали, их отражения в песчинках тоже. Казалось, что мы находимся внутри искрящейся сферы, и от этого подкатывало ощущение безвременья, небытия, вакуума, и только воздух на вдохе прикасался к губам удивительным вкусом живительной влаги. — Странно это все...

— Что? — шепнул Агафон.

— Все... — упала звезда, отразилась мерцающим бисером на разбитом зеркале земли. — Когда я был совсем маленький, года три, время, когда вопросы мучают тебя, а ты изводишь вопросами взрослых... папа был такой большо-ой! Мне приходилось тянуться рукой выше головы и всей горстью хватать его мизинец... Иду я так, рука вверх, спотыкаюсь, носом швыркаю и думаю: «Почему люди живут на свете? Зачем?» Интересный вопрос, думаю, и понимаю, что отцу я его не задам — не ответит, не знает... Странно... Почему-то уже тогда чувствовал, что нет ответа. И такая от этого тоска! Во всем есть смысл и цель: в любви, в детях, в работе. В математике, например, как все конкретно и осмысленно! А в самом главном — в жизни — нет... Тоска...

Уже на ходу, держась рукой за стремя, я продолжал:

— Вот, понимаешь, родился человек, тянулся к светлему чему-то, пыхтел, жилы рвал, думал, что вот не сегодня, так завтра. А судьба ему как будто чушки чугунные к ногам привязала. Другому все легко и свободно, ему же — палки в колеса. Надорвал, как грыжу, душу от потягушечек, спился, помер. Скажешь: карма, там, грехи прошлых рождений либо предков. А за что? Хороший человек был, душевный, безобидный...

— Кто тебе сказал, что мир должен быть справедливым?

— Так от этого тоска и грызет! Змеей! Почему твоя карма не наказывает тех, кто по костям ходит?

— Наказывает...

— Нет! Ты сам в песке гниешь, тушканчиков жрешь, а раки свои... морды по гордам отъедают!

— Я в пустыне живу потому, что мне так лучше, а они, по сути, бедные люди... Друг другу глотку грызут, редко кто своей смертью умирает...

Мир чужой

— Ой-ой-ой! Пожалел от своего «богатства»!

Неожиданно Принцесса оборвала наш разговор тревожным выдохом:

— Орел!

Обхватив морду лошади, падаю вместе с ней на песок, слушаю, как бьется в крови адреналин, через долгую паузу ожидания продолжаю досадливым шепотом:

— Зачем они по ночам-то летают?

— Конвои по кострам проверяют да за тенями следят, такими, как мы...

Принцесса последние дни, как я думал, ради детского развлечения собирала в песке маленькие, похожие на слюду блестящие и расшивала их по нашему рванью и сбруе Марфы. И только сейчас, представив нас со стороны, я понял смысл этого камуфляжа. Лежа мы не выглядели неподвижными контурами на постоянно переливающейся поверхности.

Дни проходили в пещерах, в ямах, иногда пустых, чаще — с хозяевами.

На рассвете, заприметив издали высунувшегося по пояс из песка аборигена, Агафон моментально останавливал лошадь, спрыгивал на землю, увлекая за собой девочку, а меня заставлял встать на колени... Как-то я не вовремя встал в рост и сильно об этом пожалел. Испугавшись моих размеров, аборигены моментально скрылись в норах, и нам пришлось не солоно хлебавши идти в другой распадок, ужасно рискуя «засветиться» орлам либо напориться на конвой...

Далее Агафон набирал полные горсти песка и, расставив руки в стороны, разбрасывал его фонтанами, поворачиваясь на четыре стороны сначала по, а потом против часовой стрелки. Разбросав песок, он поднимал руки растопыренными пальцами к небу и делал поклоны до тех пор, пока хозяин не разводил руки в стороны — своеобразный жест приглашения. Только после этого Агафон приближался к нему, и начинались переговоры. Если они заканчивались удачно — подходили и мы.

Станный народец почти на одно лицо. Блеклые, ничего не выражающие глаза, глубокие морщины, маленький курносый нос, тонкие потрескавшиеся губы, плохие желтые зубы. Разговоры в основном о конвоях: какой и когда был, сколько людей забрал у них, сколько у соседей, сколько из них было охотников, детей, женщин, чьи это были родственники. Отдельной статьей говорили о вернувшихся из Города, но их были единицы, и это были воспоминания про-

шлогодной, а то и больше годичной давности. В одной из семей мы видели такого беглеца. Пять лет он провел в Городе и полтора года, как сбежал. По виду это был глубокий старик, кожа да кости. Он сидел в углу пещеры, молчал, уставившись в пустоту. В его зрачках черной ртутью колыхался глубокий застоявшийся страх. Когда ему подавали еду и воду, он поглощал, не замечая этого. Ничто не могло вернуть его из сомнамбулы. Лишь на секунду он выплыл оттуда, когда Принцесса погладила его руку и их глаза встретились. Мне показалось, что он узнал ее. Он даже открыл рот, чтобы что-то сказать, но вдруг погас, выключился, как старый ламповый телевизор от перенапряжения.

— Сколько же ему лет? — спросил я у хозяина.

— Четырнадцать... Это мой сын...

Казуистика: существует на свете ситуация, в которой естественное поведение человека неестественно, — горе ближнего. Никогда не мог понять людей, которые не то чтобы непринужденно, а просто органично произносили бы фразу: «Примите мои искренние соболезнования». У меня она всегда застревала в горле онемевшим языком. Вот и стоишь: немой потомок угловатости, экаешь, мекаешь, переваливаешь внутри камни собственной неестественности. Хозяин это понимал, а может, ворочал свои камни, во всяком случае, мы стояли молча, когда из бокового хода, в облаке пыли, выбежал на четвереньках сосед. По его грязному лицу из округлившись глаза текли слезы, ладони, локти и колени разодраны в кровь. Выскочив из прохода по инерции почти на середину, он завалился на бок, судорожно вытягивая ноги, и стал хватать ртом воздух, как рыба, в надежде что-то сказать, потом вдруг замер, глаза его увидели что-то в недавней памяти, и он завыл, набирая обороты истерической дрожи. Во всеобщем оцепенении тихо, почти шепотом прозвучало чье-то: «Конвой» — и все изменилось.

Трое подростков, сыновей хозяина, юркнули в три остальных прохода. Женщины распихивали в холщовые сумы нехитрые запасы и старались всучить их каждому члену семьи. Мужчины пытались сгруппировать всех в центре маленькой пещеры. Наконец им это удалось. Вернулись мальчишки, кивками подтверждая, что соседи оповещены. Хозяин тряпкой загасил очаг, вытащил трубу, и в полумраке одинокого светильника воцарилась тишина...

С шелестом легкой бабочки с потолка упало несколько крупинок. Все повернули головы...

Шелест повторился более отчетливо. Тесная группа в центре стала медленно присаживаться на корточки. По знаку Агафона я положил Марфу на пол, прижав ее голову к земле...

Наверху как будто топнули по ватному одеялу. С потолка сорвался песчаный блин и шмякнулся об пол. Марфа заводела мордой под моим боком, заиграла ноздрями и неожиданно заржала. Испуганный вздох качнул людей. Я навалился корпусом на лошадь, зажимая ей рот. Перестал сыпаться песок...

И вновь тишину взорвала неожиданность. Четырнадцатилетний старичок со страшным криком стал бегать по пещере, прыгал на стены, ударял кулаком податливый потолок. Штаны у него были мокрые...

Я слышал до этого только раз, но, кажется, буду помнить всегда звук движения рыбьего наконечника сквозь песок. Звук змеи, ползущей по песку, переходящий в высокий ультразвук, и басовитую тупость вздрагивающего удара. Крик старичка переходит в бульканье — копые вошло в него чуть выше левой ключицы, почти вертикально и очень глубоко. «А-а-а!» — кричит его отец, ползет к нему на четвереньках, спотыкается, падает лицом в землю, тянет руки, пытаясь схватить, удержать, вернуть. Вздрагивающее тело медленно утягивают вверх, через песок. С высохших пальцев левой руки ручьем бежит густая кровь...

Змеиный клубок размотался — со всех краев потолка с шипением показываются копыя на разную длину и исчезают вновь. Люди лежат на полу, стараясь быть поближе к центру пещеры. Хозяин стоит на четвереньках у стены, оторопело смотрит на лужицу крови, которая стремительно просачивается в землю...

Вечер. Сидим с хозяином и Принцессой на песчаном склоне, следим за закатом, молчим. Рядом в погребальной пещере догорают останки погибшего сына. Ракообразные бросили его тело и ушли ни с чем.

Внизу, в специальной пещере, в пол вонкнуто множество труб, они стоят вплотную, так что чугунные шарики на их концах образуют широкое ложе, на которое укладывают усопшего. После непродолжительного молчаливого прощания все выходят из пещеры, и специально выбранный для этого человек зажигает газ.

Над песком, над крышей усыпальницы трепещется прозрачным маревом раскаленный воздух. Воображение настойчиво рисует в этих колебаниях мальчика-старичка: то его походку, то поворот головы, то перелив холодной ртути глаз, то ручеек крови, сбегающий с высохшей руки.

— Они даже не знают, что под землей есть пустоты, — вдруг очень тихо и довольно-таки неожиданно говорит отец. — Они думают, что мы плаваем в зыбучих песках, как рыбы. Одно время они препарировали пленных в надежде найти жабры... Поэтому и ходят по пустыне крутами, тычут острогами и боятся нырнуть в песок. А мы лежим внизу, собравшись в дорогу, не шелохнувшись, ждем, кого судьба заберет... — он замолчал резко и надолго, смахнув с глаз красную от заката слезу.

— А что об этом говорят твои родители?

— Не знаю, — отвечает Принцесса, — я еще маленькая...

Последняя краюха солнечного диска исчезла, и вдруг зеленая вспышка прибежала оттуда, из-за горизонта, ударила в жаркое марево над усыпальницей, осветила его изнутри нежным облаком. Облако всплыло вверх по дуге и ушло догонять солнце за грань бытия.

— Ну, слава богу, отмучился, — проговорил отец, ни на кого не глядя, подошел к краю усыпальницы, опустил на колени, набрал полную пригоршню песка и умылся им, как водой. — Пойдемте...

После этого было много переходов.

Опять ночь. Опять звезды. Агафон с не привычки натер себе все, поэтому на Марфу не садится, ведет ее под уздцы. На его месте покачиваюсь я, чувствую спиной тепло Принцессы...

Два дня назад я не выдержал. Опять мы лежали на полу, опять шипели змеи копий. Переползая на спине, я взял свое копые, перемотал левую ладонь тряпьем, выждал момент, когда надо мной показался рыбий наконечник, схватил его левой и с силой ткнул своей остройгой вверх, навстречу движению нападающего. Крик наверху услышали все. Встречное древко ослабло, я откинул его в сторону и попытался освободить свое. Безуспешно.

Тишина, уже, кажется, закономерная в такие минуты, действовала мне на нервы. В фокусе молчаливых взглядов я дергал копые на себя все сильнее, прекрасно понимая, что наконечник завяз и уже никогда не выйдет из тела. Из потолка показ-

Мне нрав...

лись колени в шипованных щитках. Я се дергал. Появились бедра и живот, стало видно, что острое вошло в щель между нагрудником и поясом в районе печени, пробив кольчугу. Древко сразу стало липким и противным, я перехватил его левой заматанной рукой. Все вокруг смотрели на меня, не шевелясь, с каким-то смешанным чувством досады и страха. Смутно ощущая, что делаю что-то не так, я взвыл и дернул изо всех сил. Тело с грохотом свалилось на пол, а я все дергал и дергал, пытаюсь освободить свое оружие. Молча подошел Агафон, тихо отстранил меня, взялся за копьё, повернул его против часовой стрелки по оси до щелчка, толкнул вперед до щелчка, вызвав последнюю судорогу умирающего, потом короткое движение по часовой стрелке и назад, и древко освободилось от наконечника. Наклонившись над убитым, он открыл его поясную сумку, достал новый наконечник, быстрым движением установил его, подал мне копьё вместе с сумкой, полной «рыбьих скелетов», и, стараясь не глядеть на меня, сел у стены. Вид у него был, как у человека, всеми силами старающегося не заплакать от досады.

Непонимание происходящего, ощущение своей неправоты неизвестно в чем подхлестнули во мне вредность — то сильное чувство, которое иногда толкает даже на смерть, и я с оружием наперевес, с воинствующим хрипом выскочил наверх... Раков уже не было. Их самоуверенность настолько не ожидала сопротивления, что они сбежали (даже не успев испугаться).

Внизу все суетливо собирают свой нехитрый скарб. Агафон и Принцесса тихо разговаривают с хозяином. Я понимаю, что про меня, и не подхожу. На меня вообще никто не обращает внимания. Агафон бросается к нашим вещам, достает мечи, второе копьё, предлагает их хозяину, тот пугается еще больше, суетливо мотает головой, отодвигаясь. Девочка берет одной рукой мизинец, а другой — большой палец его правой руки и что-то тихо говорит. Хозяин смотрит ей в глаза, как будто видит их в первый раз, и садится на пол, Агафон тоже. Девочка становится на колени, не выпуская руку мужчины. Все домашние рассаживаются вокруг них плотным кольцом. Монолог Принцессы долог и тих. Я сижу в дальнем углу и обиженно думаю о своем. Колокольчик ее голоса стихает, очерчивая контуром общую тишину, в которой все встают, берут вещи и выходят друг за другом в неизвестность. Остаемся мы трое.

Через час возвращаются ракообразные (кажется, их стало больше) и тычут острогами до отупения. Мы лежим в центре, головой к голове, как трехлучевая звезда. Ждем. К ночи их активность стихает. К вечеру второго дня они уходят...

И вот мы с Принцессой покачиваемся в седле, Агафон ковыляет впереди, и каждый мысленно спорит друг с другом. Назревая, мои мысли переходят в звук, бесконтрольно, нерешительно, себе под нос:

— Значит, вот так и надо? Сидеть в норе и ждать, когда тебя наколют острой, как рыбку на обед?

Ветер приносит мысли Агафона:

— Защищаясь, ты вынужден нападать, нападая, становишься бойцом, став бойцом — погибаешь. Телом — раньше или позже, душой — сразу и навсегда.

— Отъ, отъ, отъ! А унижение норы — это не разрушение?

Обернувшись на ходу, Агафон указывает на мою руку. От шеи часть груди и левая рука у меня укрыты медными шипованными щитками, кисть в металлической перчатке, их я снял с убитого.

— Смотри, — говорит Агафон, имея в виду мою новую амуницию, — это уже не защита, это болезнь, как струпья на коже. Твое тело под щитками, как старая короста, млеет от защищенности и упивается своей силой. Ты уже продал свою левую руку бойцам, когда попробовал вкус крови, скоро продашь голову и сердце. И пусть ты будешь воевать за нас, освобождать нас — голова и сердце будут у них, в кунсткамере, в заспиртованных баночках, сухие, как грецкий орех и миндаль.

— Что же тогда делать?

— Жить...

— Загибаться?

— Нет... жить.

— Как?!

— Заталдычил! Думай сам — твоя жизнь!

«То-то и оно — жизнь. Темень и звезды. Звезды и бисер на волнах барханов. На все вопросы — только тишина. И Принцесса молчит».

— Ты почему молчишь? С тем мужиком разговаривала, а со мной молчишь? Что ты ему говорила? — наши звуки перетекают через соединение наших спин слабой вибрацией, кажется, что это ручей наших мыслей...

— Те слова предназначались только ему...

— А мне что? Тишина?..

Ни ответа ни привета, как будто нет никого, только тепло ее прикосновения гуляет по позвоночнику...

— Что говорят твои родители? Так и должно быть устроено в мире? Почему нельзя изменить это как-то?

— Попробуй поменять что-либо в муравейнике... только разрушишь.

— Эх, сравнила! Мир — не муравейник, а Бог — не мужик с клокой...

— Откуда ты знаешь?

— Предполагаю... Так ты же знаешь — вот и скажи?

— Я не знаю... я их еще не видела, — мне показалось, что она вздохнула, только как-то странно: звук этого вздоха обогнул нас широко по дуге и пришел спереди, стал повторяться. Новый, еле уловимый запах проникал прямо в мозг, свежестью прогонял сон.

Агафон остановился. Марфа ткнулась мордой в его спину и тоже встала, широко открытыми, трепещущими ноздрями втягивая в себя незнакомый воздух. Принцесса спрыгнула с лошади, подошла к Агафону, прислушалась чутко, вытянув шею, и вдруг сорвалась, побежала вперед, взбивая голыми пятками высокие фонтанчики пыли. Оступилась, сделала несколько шагов в нашу сторону с намерением что-то сказать, но, передумав, оляя припустила навстречу новому звуку, новому ветру.

На востоке, за спиной начали гаснуть звезды. Утром мы вышли к Оксану.

Весь назревающий рассвет Агафон, забыв про усталость, прибавлял шаг, неосознанно пытаясь догнать Принцессу, но когда первые лучи осветили изменившийся впереди горизонт, он стал часто спотыкаться, не в силах оторвать взгляда от медленно открывающегося массива воды. Пришлось взвалить его, как безвольный мешок, на лошадь. Он, кстати, этого даже не заметил, продолжая смотреть вперед.

Мы догнали Принцессу на стыке цветов: коричневого и синего. Песок у края переходил в твердую породу и высокими, отвесными скалами обрывался к морю. С этих скал, изрезанных глубокими морщинами расщелин и усыпанных кое-где бородавками чахлах кустиков, текли там и здесь, сыпались водопадами ручьи песка. Ветер взбивал их временами, как волосы Вероники, и тогда во взлетающих краткосрочных тучках пыли вспыхивала ненадолго удивительным образом радуга. Стекая, ручьи образовывали ровный, узкий пляж между скалами и водой.

Наверху, на границе между вертикалью и горизонталью, контрастом и ирреальнос-

тью, сном и небытием стояли наши тела, забытые нашими душами, тревожно трепещущие на влажном ветру.

— Надо спуститься, — сказала Принцесса, посмотрев на меня голубыми глазами.

— У тебя цвет глаз изменился, — констатировал я, неспособный уже удивляться.

— Они были забиты песком, — и она улыбнулась широко и светло, с ямочками на щеках, и повела вверх плечиками, и развела в стороны пухлые ладошки, и стала вдруг маленьким-маленьким ребенком, каким и должна была быть с самого начала, но забывала...

Мы долго бродили по краю в поисках спуска для себя и Марфы. Наконец нам не без труда удалось это сделать по расщелине, пересекающей узкий перешеек мыса, тонкого и острого, глубоко вдающегося в море. Агафон все это время был неуправляем. В смысле, он нас не видел, не слышал, не был способен что-либо соображать и давать внятные ответы. Перед спуском мы предусмотрительно привязали его веревкой ко мне, что, конечно же, оправдалось. Он срывался несколько раз с тропы и, болтаясь внизу, делал минимум движений, чтобы только развернуться и видеть воду. Я тащил его, безвольного, ругал его и устойчивый запах газа в расщелине. Он молчал и включался в процесс подъема только тогда, когда какой-либо выступ скрывал от него Океан.

На берегу наша команда развалилась окончательно. Принцесса прыгала у края воды, поднимая брызги, бегала туда-сюда, вбивала в упругий мокрый песок босые следы, верещала счастливо, когда ленивая волна пенистым языком слизывала их. Агафон стоял истуканом, смотрел, делая одно микродвижение в час. На меня напала жажда хозяйственной деятельности. Я нашел укромное местечко между скал, подальше от расщелины и запаха газа в ней. Распряг Марфу. Сделал уютный бивуак. Полазил по скалам, срывая для костра колочие, ломкие, сухие ветки кустарника.

Когда все было готово, скинул рубаху, вошел по пояс в воду и поплыл, смакуя новые либо давно забытые ощущения от прикосновений воды. Потом лег на воду головой вниз, раскинув руки и, сдерживая дыхание, смотрел на колыхания моей тени и световые переливы на песчаном дне. Сердце замирало сладостно от ощущения полета. Меня поддерживали на поверхности солнечные лучи, материализовавшиеся в воде в мерцающие световые колонны. С

Мир сродни

берега донесся взволнованный оклик. Я перевернулся, глубоко вдохнул живительного воздуха, помахал, чтоб успокоить ребят, и поплыл к берегу.

Потом было купание Марфы. Лошадь поначалу тревожно ступала копытом, косила испуганным глазом, подергивала головой. Принцесса восторженно прыгала вокруг, давно уже мокрая с ног до головы от собственных брызг, прибавляя страху и так настороженному животному. Но растирание мокрыми рубахами подрагивающих Марфиных боков, ласковые уговоры сделали свое дело. Закончилось это совместным заплывом. Мы с Принцессой, держась за гриву, гребли по разным сторонам от головы лошади и смеялись залиvisto, когда Марфа всхрапывала дрожащими ноздрями либо косилась на нас довольным зрачком. Поддерживая наш смех, Марфа кивала коротко и дразнила ржанием.

Возвращаясь на берег, мы заметили Агафона уже по колено в воде. Он стоял, нагнувшись, пытаясь прикоснуться ладонью к поверхности волны. Создавалось впечатление, что он хочет опереться об нее, для того чтобы сделать следующий маленький шагок. Но ленивая волна опрокинула его на спину и накрыла на секунду. Он вскопился резко, размахивая руками, смешно округлив глаза, кашляя и отфыркиваясь, бросился на берег и уже на суше вдруг засмеялся, да так сильно и радостно, что, не в силах стоять, повалился на спину, хватаясь за живот...

Ночью никто не спал. Сидели вокруг остывающих углей. Агафон слушал непроглядную тьму. Принцесса следила за огненными змейками среди золы. Я разглядывал ее лицо в мягких переливах слабого света.

— Ну, что, дошли?

— Не-а...

— И куда теперь?

— Туда, — и девочка опять махнула на запад, — на Остров...

— Далеко?

— За горизонт.

— И как поплывем?

— Не знаю...

— Ты еще маленькая?

Принцесса посмотрела на меня по-новому — вдумчиво и спокойно, пошевелила веточкой огненных змеек:

— Не знаю... пока.

Агафон, закрыв глаза, весь во власти незнакомых ранее звуков, раскачивался в такт волны, только тело его оставалось с нами,

самого же его не было здесь. Я откинулся на своем лежаке и рассматривал звезды:

— Если ты ищешь своих родителей — значит, ты потерялась?

— Да...

— Как же это случилось?

Последнее время я не могу отличить вздохи Принцессы от вздохов Океана. Они одинаково весомо-продолжительны, нематериальны и легки.

— Некоторые люди, добившись всего на этой Земле, думают: а что же дальше? Дальше для них выходит отсутствие смысла достигнутого. Смерть обрезает все. Смерть стоит барьером богатству, власти, всему тому, что хочется сохранять за собой вечно. После нее — неизвестность. Если бы им знать конкретно, есть там что или нет, тогда планы ясны. Если нет ничего — отрываемся здесь. Если есть — решаем задачу, как устроиться там.

Большие люди за дело берутся железной хваткой. Как у них получилось, решать не мне, но вместо того чтобы родиться там, я появилась здесь. И они это знают. И рыщут в пустыне. Хватают детей без разбора, режут, жгут на кострах в надежде, что за меня вступятся родители. И тогда можно будет заключить сделку. Я — ключ их проблем. Я даже не игольное ушко — дверь, через которую эти верблюды хлынут туда... со своим уставом. Поэтому ключ надо спрятать...

— Серьезное дело... А как там у вас? — шум волны успокаивает, мои губы вялые от купания, веки слипаются.

— Строго...

— Когда же... отдохнуть?..

— Ты спишь?

— Да...

Пuls, очень медленный, бьется в ушах. Набежит и отхлынет. И каждый удар все мягче и мягче. Что же он напоминает? Как море шумит?.. Какой медленный puls. Но это действительно море...

— Виктор, вставай. Вставай, я нашел, — Агафон трогает мое плечо в ритме прибоя. Со вчерашнего дня он все делает только в этом ритме. Он, кажется, трекнулся на этом ритме.

— Что?

— Я нашел. Там. Такие круглые, большие. Внутри рисунки.

На оконечности острого мыса волны катают две большие, в рост Агафона, бочки. Мы вдвоем откатываем их подальше от воды и рассматриваем идущие по внутрен-

ней поверхности рисунки, похожие на пиктограммы. На них лошадь, к бокам которой привязаны два цилиндра, в каждом цилиндре сидит человек, «палка, палка, огурчик...», все это перечеркнуто волнистой линией. Далее нарисована узкая остроконечная гора, вдоль одного склона которой поднимаются вверх три волнистые стрелки, указывающие на облако с изображением человечка.

Выползаю из бочки, взгляд упирается в мыс, и я понимаю, что на рисунке не гора и облако, а мыс, течение и Остров.

Перекатывание находки до лагеря заняло около двух часов. Весь день ушел на изобретение хитроумной конструкции из ремней, веревок, тряпок, с помощью которой можно было бы в воде приторочить бочки с разных сторон лошади. Мы неоднократно заводили Марфу по грудь в воду, часами держали ее так, запрягая и распрягая, подвязывая, ругаясь, обсуждая, отстаивая, соглашаясь. Лошадь стоически терпела это, заразившись деловой всеобщей атмосферой творчества, рождения новой инженерной конструкции, которой еще не видел мир.

Солнце склонилось к закату, когда мы предприняли первый пробный заплыв. Что бы понимало это животное?! Но вы бы видели выражение этой морды! Для нее это было не менее, как шествие под Триумфальной аркой с Цезарем в седле. Подняв хвост над водой, Марфа гордо била копытом глубину в ритме парадного аллюра. Шампанского не было, поэтому бить об нос нового плавсредства было нечего, да и Марфа, я думаю, не согласилась бы. День отплытия назначили на завтра. О чем мы тогда думали, не знаю. Если бы хоть кто-то из нас за целый день кропотливой работы оглянулся на Океан и сравнил масштабы... Поэтому наше подсознание запрещало нам оглядываться.

Усталая Принцесса заснула, не дождав-шись ужина. Я тоже был на автопилоте, поэтому не сразу заметил, что Агафон долго не берет протянутую ему миску.

— Агафон!

— А?! — он обернулся слишком резко и испуганно, так, как будто его застали за чем-то нехорошим. Глаза округлились, а уши и щеки стали пунцовыми даже через загар.

— Ты чего?

— Я... — Агафон понял, что придумывать уже поздно, а сказать правду что-то мешало. — Виктор... мне... я тебе завтра скажу. Ладно?

Я пожал плечами и принялся за еду, ста-

раясь не смущать Агафона изучающими взглядами. А он ушел в свои думки глубоко-глубоко. В такие моменты человек кажется абсолютно одиноким, потерянным в космосе настолько, что хочется пожалеть его, но нельзя. Засыпая, я видел в его руках тарелку и ложку с нетронутой кашей...

Конструкция была в сборе, вещи складированы на дно вперемешку с камнями в роли балласта. Ответственность момента чувствовали все, даже Марфа. Если бы лошади умели бледнеть, она была бы бледная. Мы уже сидели в бочках, Агафон стоял по колено в воде, в двух шагах к берегу:

— Викт'ор, я не поеду...

— ???

— Я не могу. Мне не страшно — я просто не могу. Как бы здесь ни было хреново... Не уговаривай меня!.. Я песчаная рыба... мне плавать в песке...

Он стоял по колено в воде, в штанах, разодранных на бедре копьем, — маленький, неказистый и старый... Намного старше меня. Я раньше этого не замечал так остро...

— Пауза затянулась, ребята... В добрый путь... Не тяни тушканчика за хвост! — он толкнул круп лошади, Марфа пошла... — Спасибо за имя...

Так вот и получилось, что, отплывая, мы смотрели не вперед, за горизонт, а на берег, в прошлое.

Как плывет лошадь?.. А с двумя бочками по бокам? Все это время Агафон стоял по колено в воде и махал нам высоко поднятой рукой.

Движение ускорилося, нас подхватило течение, обозначенное на пиктограмме, Марфа всхрипнула от неожиданности. И ни раньше ни позже на обрыве береговой скалы выехали конные ракообразные. Как мы могли забывать о них, околдованные Океаном? Как мы могли упиваться свободой, которая оказалась лишь задержкой погони?

Мы орал Агафону, махали руками, чтобы он плыл к нам, пытались повернуть Марфу вспять, нас только крутило быстрым течением. Очень долго он не мог понять, очень медленно оборачивался назад, очень тяжело бежал под скалы к нашему костру. Их было много, по одному на обрыве скалы, на сколько хватает глаз. Конница повернула направо и не спеша начала группироваться у расщелины, по которой спускались мы... вот и последний всадник исчез в ней...

Мы вновь увидели Агафона, он бежал к

Мир свободы

расщелине с горящей веткой в руках. Я вспомнил про запах газа. Агафон успел до появления первого всадника. Звук взрыва, как шелест тяжелой ткани в резком порыве, достиг нас. Из расщелины высоко-высоко метнулись языки пламени — даже не подозревал, насколько это опасно. Я посмотрел на Принцессу, тоном возражения сказал:

— Он живой! Он просто бросил туда факел... А мне говорил, что защищаться нельзя... У тебя цвет глаз изменился.

Принцесса закрыла черные огни, опустилась, спряталась на дне своей бочки:

— Он не защищался... он спасал, — доносилось оттуда приглушенно и гулко.

Вот и понимай теперь их философию...

...Когда сидишь в бочке, граница мира кажется маленькой и узкой. Странно... Плоскость окружности выхода и объем неба — одно и то же. Все тело «токает» в ритм покачивания волны и движения Марфы. И кажется, что ужас потери все дальше и дальше. Время расщепляется на замедленное и ускоренное. В замедленном вырастают стены огня, которые видел только что. В ускоренном синева неба переходит в закатное марево, и загораются звезды.

— Принцесса, ты спишь?

— Нет, — деревянно-гулко.

Уже в ночи поднимаю голову над краем бочки. Марфа дрыгает ногами в воде и косит глазом. Нас несет течением по странной большой воде.

— Девочка, все это правильно?

Принцесса поднимает голову над краем досок и молчит. Далеко-далеко, на границе воды и неба горит маяк Агафона...

Утро. Наши головы торчат над обрезами бочек. Мы смотрим каждый в свою сторону на вечное дыхание волн.

— Скоро Остров, — Принцесса положила ладошки на деревянный край, прикоснулась к ним подбородком, смотрит на воду и в глубину. Тихое умиротворение воробышка.

— Почему ты так решила?

— Посмотри на дно.

Действительно, здесь неглубоко. Веселые солнечные змейки, извиваясь, бегают по песчаным гребешкам дна, переливаются цветами радуги, преобладая в золотом. Копыта Марфы не достают до песка, но струи воды, вызванные движением ног, взбивают на дне фонтанчики, похожие на миниатюрные, бесшумные взрывы, которые долго оседают, оставляя за нами длинный след. И так — насколько хватает глаз.

А впереди, над горизонтом, отделенное от синей воды дымчато-голубой полоской воздуха, висит тяжелое зеленое пятно в мареве миража.

— Остров... — шепчет девочка.

Нас встретили еще в море, далеко от суши две узкие и длинные, легкие лодки с гребцами, пристроились по бокам, на почтительном расстоянии, и торжественно эскортировали до берега. Набережная представляла собой довольно высокую, почти вертикальную стену из гранитных черных глыб. Там и здесь, разрезая стену на уступы, к воде спускались гранитные же ступени. Все пространство у парапета было занято людьми, наблюдающими наше прибытие.

Когда Марфа приблизилась к ступеням, человек десять-двадцать прыгнули в воду, быстро разобрались в нашей конструкции, отсоединили бочки, и, не давая нам выйти из них, занесли по ступеням наверх. Там множество рук вынуло нас из бочек, приподняло над головами и аккуратно поставило на землю. После двух суток жизни на воде твердая поверхность качалась и пульсировала. Я пошатнулся, меня предумышленно поддержали, дружески заулыбались вокруг и весело заговорили, как оказалось — на совершенно непонятном языке.

Они были похожи на индусов, но весьма отдаленно, может быть, разрезом глаз, овалом лица, оттенком кожи, хотя волосы и глаза были светлыми. Одежды их состояли из нескольких отрезков ткани, разных, но обязательно ярких цветов.

Меня корректно отеснили от Принцессы несколько человек, обступили ее плотным кольцом, задавали вопросы, и она отвечала на их птичьим языке! Люди эти явно выделялись среди других, и даже не одеждой либо надменностью вида, нет, ничего этого не было в помине. Было спокойствие взгляда, доходящее до магического, и самодостаточность, проявляющаяся в плавности и гибкости движений. В их разговоре с девочкой чувствовалось удивление без излишнего любопытства, почтение без тени подобирастия. Я смотрел на Принцессу и опять не узнавал. В ее голубых глазах было столько осмысленности и вдумчивости, что поневоле брала оторопь от контрастного несоответствия взрослой мудрости детскому телу.

Я поймал себя на мысли, что, удивляясь новой перемене, перегибаю палку, развожу

сопли, впадаю в детство. Стало неловко за свою умильность, и, помахав Принцессе издали, объяснив жестами, что погуляю по округе, я неторопливо двинулся по набережной.

Первым делом я отыскал в этой толпе Марфу, которая тоже без внимания не осталась. Ее выгнали насухо, откуда-то появилась торба с овсом, что лошадь приняла с благодарностью. На этом взаимопонимание закончилось. Окружающие пытались вежливо сопроводить ее в неизвестном направлении, Марфа же неизвестности боялась всегда, поэтому упиралась всеми четырьмя. Пришлось вмешаться в этот процесс, чему обрадовались обе стороны. В результате Марфа цокала копытами по мостовой за моим плечом, сопровождающие лица бежали впереди, показывая направление. Пройдя несколько улиц, выгнутых по дуге, вдоль забронированных в камень каналов, и прогрохотав по нескольким мостам, мы прибыли в просторную и чистую, архитектурно «желобовато-выгибистую» конюшню, где Марфе отвели отдельное стойло...

Солнце бьет жесткими полуденными лучами через ажурную стеклянную крышу. Люди остались за воротами. Конюх попытался заговорить со мной, но, убедившись, что я ничего не понимаю, отошел. Облокотившись о заплот руками и подбородком, я наблюдаю, как Марфа водит мордой в яслях туда-сюда, и почему-то мне тоскливо. Марфа поднимает голову, перестает жевать, смотрит на меня, чувствует мою тоску, от этих «нежностей» еще больше щиплет в глазах. Переступая по гулкому полу, усыпанному тонким слоем соломы, лошадь приближается, обдает волной тревожного выдоха из трепещущих ноздрей и большими, нежными, сухими губами начинает целовать слезы на моих щеках. Я запускаю пальцы в ее гриву, глажу ее шею и не могу понять, почему я плачу? Может быть, это из-за того, что мы сделали все необходимое, и значит, что-то должно измениться? Но кто сказал это? Предчувствие — странная вещь.

Марфа поднимает голову с моего плеча и смотрит в сторону. В отдалении стоит человек и жестами приглашает меня идти за собой. Мы приходим в центр города, где стоит высокое, грандиозное здание удивительной архитектуры. Снизу кажется, что своей вершиной, где множество шпилей и башенок, оно расчесывает облака, плывущие высоко.

Человек приводит меня в большую, богато обставленную комнату на одном из верхних этажей, что-то говорит, обводя вокруг руками. Откидывает шторы с большого, во всю стену, опять же, ажурного окна, открывает шкафы и шкафчики, объясняя жестами, что для чего. Говорит, не останавливаясь, прекрасно понимая, что я — «ни бум-бум». На маленьком столике тонкого литья стоят медные кувшины разных форм и размеров. Мой гид наливает из одного в очень маленькую пиалку, протягивает мне с вопросительной интонацией. Пауза. Он опять начинает говорить, объясняя, наверное, отпивает из пиалки и опять протягивает мне. Я делаю маленький глоток. Вкус цветочного нектара с пылью мягко омывает пищевод до желудка и вдруг взрывом разлетается по кровеносной системе до самой макушки и кончиков пальцев. Человек прослеживает мою реакцию и одобрительно хохочет.

Наша экскурсия продолжается. Около умывальника с головой загадочного зверя — вместо крана и дыркой в полу — вместо раковины экскурсовод достает из стакана на полке одну из коричневых палочек и начинает разжевывать ее край, а потом показывает мне, как с ее помощью чистить зубы. Далее палочка направляется в мусорную урну.

Экскурсия заканчивается, как и началась, — у окна. Человек делает прощальные жесты и уходит. На что же это похоже? Ах, да! На то, как портье показывает номер в гостинице. Я видел. В кино. Значит, теперь мне здесь жить...

Отсюда, сверху, разглядываю город. Он находится внутри идеального круга, две пятых внешней дуги которого составляет морская набережная. Внутри города находятся три канала, тремя кольцами разделяющие город на геометрические бублики. Все каналы связаны между собой протоками, перекрытыми мостами. А внешний канал широкой протокой выходит в море в центре внешней набережной. Ни одно из канальных соединений не находится на одной линии. Все это водное сооружение заковано в гранит.

За городом виднеется большая равнина, обрамленная по трем сторонам высокими горами, чьи снежные шапки сливаются с белизной облаков.

На краю города, где внешняя набережная встречается с берегом и идет уже по нему крепостной стеной, человек бросает вызов монументальности гор. Там строят

Мир чудес

огромную башню. Конструкция ее гениально проста. Четыре огромные трубы из странного, молочного цвета металла устремлены ввысь, связаны между собой платформами из сетки того же материала. От платформы к платформе ведут, металлические же, лестницы. На что это похоже? На гигантский подъемный кран без стрелы... только уж очень большой!

С помощью блоков на тросах тянут наверх очередной сегмент трубы...

Я вернулся в конюшню к Марфе. Залез в ясли на душистое сено. Сладкая дрема одолевает меня. Марфа хрустит овсом в меньшем, отгороженном ящике за моей головой, иногда тянется ко мне и дышит в щеку. Я вяло поднимаю к ней руки и глажу теплую, короткую, жесткую шерсть. Мне стало одиноко в моей богатой комнате, поэтому я вернулся.

— Можно с вами? — раздается тихий девчоночий голос.

Я поднимаю над яслями заспанную голову:

— Привет, Принцесса. Что, не спится?

— Дяденька, нам дальше надо...

— Что? Опять?

— Это последнее...

— Куда?

— На башню...

Я сажусь в яслях, поджав по-турецки ноги, растираю лицо и глаза. Принцесса продолжает:

— Они строят ее специально, чтобы я перешла к родителям...

— Прямо так: чик — и на небо?

— Не смешно!.. Я домой хочу... — в ее глазах блестят слезы. Это серьезно.

— Когда?

— Сейчас. До восхода надо быть наверху.

— Она же недостроена?

— Времени не осталось...

Марфа увязалась за нами и теперь стоит там, внизу, задрав голову, и смотрит на нас. Я не вижу этого в темноте, перебирая руками холодные ступени, но чувствую ее взгляд, я знаю, я уверен в том, что она смотрит на нас.

Мы прошли уже двенадцать этажей, и надо бы остановиться, но Принцесса зовет сквозь усталость:

— Дяденька, ну еще одну лесенку!

— Хватит! Я обещал твоим родителям привести тебя без переломов конечностей!

— Когда? — пугается она.

— Ты уж и шуток не понимаешь...

Еще шесть этажей, и еще один отдых. Шум в ушах. Разговор в ритме сбитого дыхания:

— Как же ты попадешь на небо?

— Не знаю. Мне просто надо быть на восходе на вершине недостроенной башни.

— А мне можно с тобой?

Принцесса долго молчит, опустив голову, потом вдруг, тихо:

— Многие заблуждаются, представляя время и вечность однонаправленными векторами. Думают, что вечность — это продолжение времени. Однако вечное перпендикулярно временному движению в каждой точке. Душа, попавшая в вечность, имеет возможность обозреть все течение Леты сразу: от истока до устья и дальше в Океан, и Харона на лодке в движении поперек... Люди пишут историю человечества — слабое подобие утерянной возможности: пройти сквозь игольное ушко с поворотом НАД временем, прорывающим вечность...

Тишина... Надсадная пульсация крови добралась до глазного яблока, от этого кажется, что звезды мигают в ритме моего сердца... А может, это на самом деле? Тишина...

— Ты с кем сейчас разговаривала?

Принцесса смотрит на меня грустно:

— Тебе еще рано... может, потом...

В воздухе слышится странный шорох.

— Разведчики! Я знала! Это орлы — разведчики ракообразных!

И мы судорожно продолжаем подъем. Теперь и я различаю в окружающем воздухе взмахи орлиных крыл. Снизу доносятся приглушенные крики и металлический звон. Искорками загораются факелы.

— Надо закрывать на каждом этаже люки на засов, чтобы их хоть немного задержать, — говорит, задыхаясь, Принцесса.

Кажется, что не заря приходит к нам, а мы выползаем за границу тьмы и света, но вдруг понимаем, что эта граница — тысячи крылатых тел. Ведомые «летчиками», орлы несут в когтях грозди ракообразных, спускаясь над Островом, они бросают на Город, с малой высоты, сразу в бой, свой орущий груз и возвращаются на бреющем, над водой, за горизонт. Впрочем, нет, берег Пустыни отсюда уже виден.

Видно также, как далеко внизу, целой толпой лезут раки наверх. Один из орлов, взмывая над всеми, несет к нам свою гроздь. Это, конечно, глупость, но мне кажется, что я узнаю того летуна, что видел тогда — в первый раз. Бойцы, болтающиеся на ког-

тях птицы, начинают истошно орать, понимая маневр летуна. Орел встает вертикально на крыло и разжимает лапы.

— Принцесса, беги! — кричу я девочке, и она, судорожно перебирая всеми четырьмя, скрывается наверху. А я стою истуканом, глядя в глаза летуну. Птица задела когтями металл, пролетая боком, очень близко от башни.

Гроздь, надо сказать, бросили неудачно. Один пролетел мимо, вдруг почему-то замолчал. Второй расшибся о металлическую трубу — стойку башни. Скрежет, звон, хруст был удручающий и страшный. Он, уже мертвый, в падении судорожно дрыгал ногами и пытался схватиться руками. Третий упал этажом ниже, плашмя. Шипы его доспехов намертво впились в решетку пола, от такого удара он затих.

Четвертый, последний, ударился грудью о перила моей площадки и повис на них, хватаясь руками. Шлем слетел с его головы, лицо побагровело, он закашлялся, брызгая кровью.

Выброс адреналина вывел меня из оцепенения. Я выхватил меч из ножен красно-рожего и занес над его головой. Он смотрит на меня, из последних сил скрежет железными перчатками трубу перил. Он боится упасть. Я опускаю меч. Он скрипит перчатками о трубу. Перегнувшись через перила, я хватаю его за шиворот и пытаюсь поднять — дохлый номер. Но пока я его держу, он отпустил перила и схватился за сетку пола, чуть не перевернув меня. Я отпускаю его и хватаю опять, уже под перилами. Пальцы его стали совсем слабыми, он постепенно сползает к краю. В его глазах уже блуждает готовность к полету, он только не понимает, почему я держу его? Я тоже этого не понимаю, но отпустить не могу. Не могу и все! Мои белые пальцы захопнулись замком на ремнях его ворота, и кажется, если они разомкнутся, сердце мое оборвется вместе с бойцом вниз.

И уже когда я лежал на полу, с опущенной по плечо рукой над краем, решение пришло само собой. Я качнул его два раза и негнушимися пальцами отпустил. Он приземлился этажом ниже на ноги, и если бы не разбитая грудь, то устоял бы. А так ноги подкосились, и он завалился на спину. Мы лежим, смотрим друг на друга сквозь решетку пола. Идущие снизу приближаются. Он приподнимает правую руку, машет: «Иди», — прикрывает глаза. Мне хочется думать, что он просто заснул.

Время вернулось на круги своя. Солнце

уже на три четверти вышло из-за горизонта. Принцесса была выше этажей на пять. Раки ниже на три этажа. Самое время для гонки по вертикали.

И она началась! Лестница, этаж, люк, засов. Лестница, этаж, люк, засов. Внизу были тоже умные люди. Они разделились на группы. В то время как одни пытались выбить люк, другие строили живую пирамиду у края площадки и так перебирались на следующий этаж, открывали засов. Чаще получалось у эквилибристов, хотя это было опаснее — одного они уже не удержали, и он сорвался вниз.

Наверху Принцесса карабкалась из последних сил, иногда не попадая ногой на ступеньку, поскользнулась и висела на дрожащих руках. Отдыхала она уже на каждом этаже, со слезами разминая негнущиеся пальчики, но, даже не успев восстановить дыхание, подходила на слабых ногах к следующей лестнице.

А еще выше, в небе, тоже происходило движение. Белые облака, подсвеченные снизу алым, вопреки всем ветрам группировались высоко над башней. В их центре открылось окно, из которого начала спускаться облачная лестница со ступеньками из тумана и клубящимися перилами.

Солнце оторвалось от линии воды. Небесная лестница замерла у края металла. Еле живая девочка встала с колен у люка последней платформы. И тут башня вздрогнула, покачнулась. Грохот прокатился по долине.

Задвигая очередной засов, я обернулся на звук. Самая высокая гора на севере чудом лишилась своей снежной шапки и теперь была окружена облаком сажи, из которого в небо бил огненный столб. Столб немного осел и подпрыгнул вновь. Второй раскат пронесся в воздухе. Башня покачнулась в сторону моря и начала скрипеть натужно от основания до вершины. Меня кинуло на перила, на секунду я увидел море и стену пара, поднимающегося из воды метрах в двухстах от берега. Цепляясь за что придется, я взглянул наверх. Площадку, на которой находилась Принцесса, разделяло с облаком несколько метров. Девочка находилась на самом краю, протягивая руки. Грохнуло еще раз. Башня, как маятник, пошла в обратном направлении. Небесная лестница накрыла девочку плотным туманом. В доли секунды задержки этого наклона внизу будто бы выстрелили тысячи пушек, опорные трубы вздрогнули, издав гитарный звук, и башня стала крениться в

Мне нравятся

сторону моря все быстрее и быстрее. По голове побежали мурашки. На верхней площадке Принцессы не было.

Как человек успевает увидеть все? Я видел, как замедленно приближались ласковые прозрачные волны, а под ними — ребристое песчаное дно. Я видел, как стеной пара сбило моих преследователей, а мой «спасенный» соскользнул с площадки и летел к воде: правая рука на груди, левая поощается на ветру.

И за секунду до удара о воду я увидел, как Принцесса входит в небесную дверь, оборачивается и машет мне рукой...

...Я ударился позвоночником о сетку панцирной кровати, раскачиваюсь на ней в белой палате ненавистного мне госпиталя. Раскачиваюсь я не просто так — это меня будят два медбрата, толкая в грудь. Одеты они в халаты и колпаки, операционные штаны и бахилы на резинках поверх обуви, на лице — медицинские маски. Весь их прикид черного цвета. Да! Даже из-под отворотов халатов выглядывают черные галстуки.

— Проснулся, — сказал тот, что пихал меня в грудь, ширококостный низенький крепыш.

— Давай, — сказал второй, худой, высокий, в тяжелых очках, в руках у него был шприц. Первый навалился на меня боком, сковал движения. Второй за его спиной наложил на руку жгут и ввел иглу.

— Ну что, доигрался? — спросил крепыш.

— Куда? — спросил я тупо, невпопад, уже заплетающимся языком.

— Не признает, — с растяжкой сказал крепыш через плечо напарнику, не отрывая от меня пристального взгляда, и я...

Это был тот! Что ушел за бархан, бросив меч, в самом первом бою в Пустыне! Я точно помню блеск его глаз через щели забрала. Второй выглянул из-за плеча крепыша, свет лампочки отразился в очках, как слюда... Летун! Страх сковал мое тело. Я вялым, распухшим языком залепетал, как будто заговор-оберег:

— Взвее-йете-сь со-ко-лы о-о-о...

— Узнал! Мы не ошиблись, — убежденно сказал худой и выкинул пустой шприц. Они постояли около меня, сложив руки, как футболисты в «стенке», потом летун сказал:

— Готов. Понесли.

Подходя, крепыш поскользнулся на моем костыле, валяющемся на полу, пнул его в сердцах под кровать, тот забрякал там жалобно. Они схватили меня под руки и потащили к черному проему двери. Ноги волочились по кафелю, а в груди стремительно нарастал страх. Пересиливая ужасную вялость, я набрал полные легкие воздуха, чтобы заорать...

...и очнулся окончательно на вздохе, у себя, в тоскливой общаге. Резко сел на буфаторской кровати, бумажные розочки зашелестели. Было полное ощущение, что разбудила меня Принцесса, освободив из плена черных братьев. Прикоснулась легонько в нужный момент и убежала в коридор. Я даже посмотрел на пол, ожидая увидеть отпечатки босых ног.

Но нет! Она здесь не живет.

Полшестого утра.

Все изменилось. Я сидел и думал о том, что все изменилось. Не будет уже той бесполой жизни, что тащила за мной до вчерашнего вечера. За время долгого путешествия в тысячу дней и одну ночь с меня сошла ненужная мишура мелочности и суеты — стало тихо и хорошо.

Пол холодит босые пятки. В груди еще порхают бабочки прикосновений Агафона и Принцессы, утасующим камертоном отживают звуки их голосов, на сердце тепло, как будто его согрели добрые руки...

Так! Развел сантименты! Сейчас я доберусь до платочков с кружавчиками, крокодильих слез, дрожащих подбородочков да красных носиков? Не бывает настолько настоящих снов! Не бывает!..

Прошел до книжной полки, вытянул «Большую энциклопедию...»:

«Сон, периодически наступающее физиологическое состояние... включает две фазы... медленный сон... и парадоксальный...»

Медленный сон завершается сменой позы, после чего следует резкий переход в фазу парадоксального сна: отмечается десинхронизация, как при пробуждении... испытываемые в 80% случаев сообщают о переживании эмоционально окрашенных сновидений, а время пребывания во сне часто переоценивается...

...Возможно, что парадоксальный сон является древнейшим видом не сна, а бодрствования...»*

* Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. — <http://www.km.ru>. — 2001.

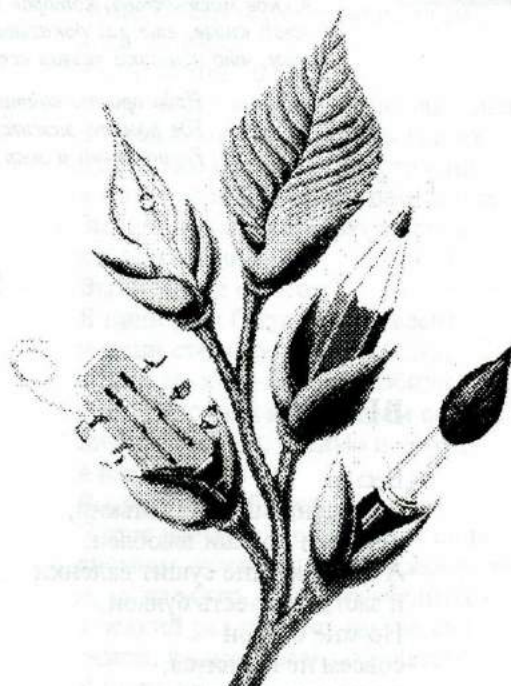
Хорошо бросать толстую книгу под кровать! Она отвечает возмущенным хлопком.

Как же хочется снова увидеть их всех! Принцессу и Агафона, добрую до слез лошадь Марфу и того... спасенного?.. Снова заснуть? И проспать так всю жизнь? Нет, не получится. Я их проводил, они проводили меня, помахали до встречи рукой... Она сказала: «Тебе еще рано». А может?..

Долгим-долгим путем дойти до Барьера, належке, чтобы со спокойным сердцем оставить, простить, отпустить все, что по эту сторону, и перейти на берег Пустыни и Океана. Марфу купать по утрам. Молчать у костра с Агафоном.

А повзрослевшая Принцесса будет смотреть на нас с неба...

Иркутск, 2002



Мир проги

Дана



Анатолий Иванович Кобенков, поэт, мастер литературного жанра, родился в 1946 году в Хабаровске. В Иркутск приехал 18-летним юношей и вскоре выпустил маленькую книжку в поэтической серии «Бригада». С той поры стихи его издавались регулярно и в 1986 году были собраны в книгу избранного «Послание к друзьям», вышедшую в серии «Сибирская лира».

Поэт любит своего лирического героя, над которым иногда посмеивается, но не со зла, а как посмеиваются над милыми людьми, которые иногда и заплутаются, и уже на границе зла окажутся, но свет души, свет дара и детства (всегда очень важного для Кобенкова) выведет их непременно в сторону добра и надежды.

Сегодня Анатолий Кобенков встречается новую дату, не совсем круглую, но красивую — 55 лет. Встречает ее новой, более объемной и зрелой книгой избранных стихов «Строка, уставшая от странствий». Поэтическое мастерство, которое демонстрирует автор в этой книге, еще раз доказывает известную мысль о том, что критика поэзии есть вещь невозможная.

*Надо просто войти в этот мир,
Где память зажигает свой фонарь,
Горит свеча и жар от тишины...*

Анатолий Кобенков

ВЕСНА

Весна.
Я глупенький и маленький,
я в лужи по уши влюблен.
А бабушка мне сушит валенки
и заставляет есть бульон.
Но мне бульон
совсем не нравится,
и я на улицу хочу,
и я весну зубрю,
как правила,
и хлебушек крошу грачу.
Я очень,
очень невоспитанный,
я очень длинный,

я худой,
я почему-то неспитанный,
я пахну лужей и весной.

Я плитку мокрую пинаю,
я синим фантиком шуршу,
я все на свете понимаю.
Я все на свете совершу!
И пусть меня пихают сумками
и пусть
— по правилам —
опять,
когда звенят капли в сумерках,
меня укладывают спать!
Пусть я лежу в постели теплой,
пусть книжку почитать прошу,
пусть мне читают «Дядю Степу», —
я
сам
уже
стихи
пишу!

* * *

Зимой, весной, осенью и летом
я вас любил.
Вы помните об этом?
Я приносил вам самый первый снег,
который таял на ресницах ваших,
а если вам ночами было страшно,
я вместе с ним являлся вам во сне.
Зимой, весной, осенью и летом
я к вам спешил.
Вы помните об этом?
Я приносил багул вам по весне,
и ваши стены розовыми были,
а если вы кого-нибудь любили,
я вместе с ним являлся вам во сне. —
Зимой, весной, осенью и летом
я вас любил.
Вы помните об этом?
Я стал цветком засохшим на окне,
листочком, истлевшим в книжке позабытой,
и, может быть, поэтому сердитым
я всякий раз являюсь вам во сне
зимой, весной, осенью и летом...
Я не устал.
Не думайте об этом.

* * *

Снег уже почернел.
Я люблю это горькое время,
эти ночи без сна,
эти долгие дни
как во сне...

Я хожу по земле,
потому что сегодня
я с теми,
кто когда-то летал,
кто уже просто так
при весне.
Мама, снег почернел!
А моя голова побелела...
Ах, как трубки мои
в это горькое время горьки...
Я хожу по земле,
помню:
юность моя улетела,
а в газетах об этом
до сих пор
ни единой строки...
Снег уже почернел —
на земле, на дорогах, на крышах.
В эти ночи и дни
по-ударному трудится связь,
и поэтому мама
меня
замечательно слышит:
— Снег уже почернел.
— Снег уже почернел
и у нас...
Мама плачет,
а я почему-то не плачу —
не хочу, не могу
и не верю, что прежде умел...
Март.
Весна.
Одиночество.
Мама.
Смешная удача —
снег уже почернел.
Снег уже навсегда почернел.

* * *

Мне бы хотелось оставить то,
что связывает меня
со всем привычным: рабочий стол,
метки на простынях,
подушки, рукописи, углы...
Я, кажется, вспомнил, где
на солнце расплавленные волны
по губы стоят в воде,
я помню, как пахнет овечий сыр,
знаю давным-давно,
как цепко цепляется за усы
пальмовое вино,
как плачет младенец, и сонный хлев

разжевывает ему
зубами Марии — пушистый хлеб,
глазами рассвета — тьму,
и солому с коленок сбивают волхвы,
и голубь стучит крылом
по белым холмам, и бегут холмы,
как годы: холм за холмом...

* * *

Я к вам приеду, но — потом,
должно быть, по весне —
на стол с вином, на суп с котом,
на прошлогодний снег...
Я к вам приеду босиком,
быть может, с узелком —
на одуванчик под окном,
на птаху за окном...
Я все исполню, но потом,
когда войду в ваш дом,
как первый гром, как старый гном,
на палочке верхом...

* * *

Вы скажете: темно...
Темнее не бывает,
притом что ни вино,
ни жизнь не убывает...
Вы скажете: пора, —
и не пойдете дальше.
Но долог бег пера,
а крови — еще дольше...
Вы скажете, что нет
и не бывало Бога,
тогда — откуда свет,
к кому — тогда — дорога?..

Даша

Галерея



Мargarита Марцинечко — художник-график. Закончила Иркутское художественное училище. Член молодежного объединения при Иркутском СХ России. С 2002 г. входит в состав творческой группы «Март». Преподаватель Иркутского художественного училища. Участница областных, городских выставок.

СОТВОРЕНИЕ МИРА

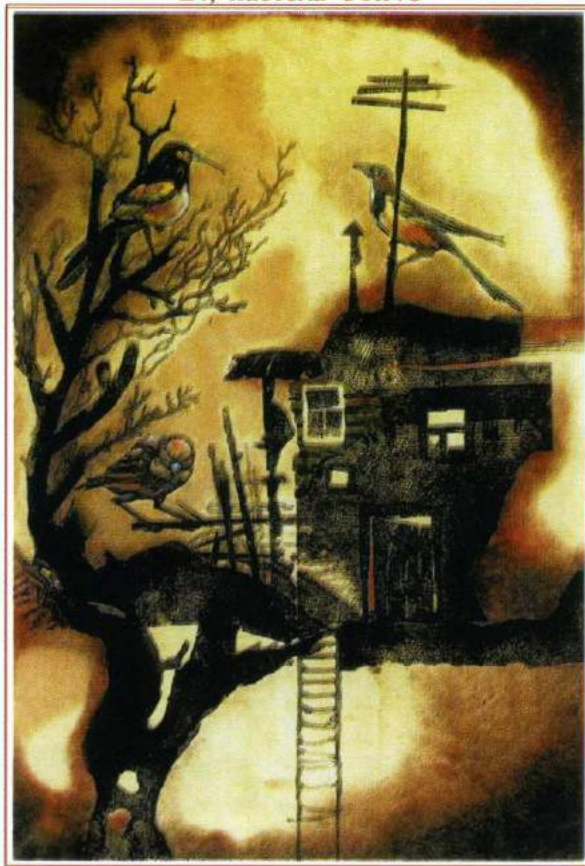
Время... Для одних людей оно проходит незаметно, для других оно движется очень медленно, но для художника это целый мир, в котором остановлено течение событий и жизни. Художник — он как творец, создает свой собственный мир, в котором время подвластно только ему. В этом времени он ищет истину, смысл бытия, существования, который обогащает наше понимание мира, нашу душу.

Мargarита Марцинечко наделена от природы способностью видеть мир реальных вещей и отражать их в отличном от действительности мире. Она создает свой неповторимый взгляд на мир и выражает его в художественно совершенной форме. Используя цвет, линию, пятно в своих работах, она стремится достичь гармонии между духовным и материальным. Через простые предметы Margarita Марцинечко словно прикасается к вечному, преодолевает текучее и неуловимое время. Работы Margarиты полны оригинальности. Она смотрит на предметы или явления с новой точки зрения, создает неожиданные предметно-пространственные комбинации.

Глядя на творчество Margarиты Марцинечко, ощущаешь внутреннюю свободу, отстраненность от повседневности, от реальности. Но эта внутренняя свобода полна любви к жизни, к предметам, животным, цветам и людям.

Р. Г. Присяжникова

Маргарита Марциненко
Из серии "Трое у крыльца". 2002.
Б., пастель 80x48



Маргарита Марциненко
"Попугай". 2002.
Б., гуашь, угольный кар. 60x42



Маргарита Марциненко
"Поющая". 2002.
Б., акв. 60x40



Маргарита Марциненко
"А за окном ещё зима". 2002.
Б., пастель 60x40



Страна поэзии

Стефановичем

№ 1 (14) 2003

Ирина Мокарева

ИГПИ, I курс

Я сказку напишу про черный снег.
Я расскажу, как падает он ночью
На ветки сосен.
Тихо.
Я собираю лучшие свои стихи.
Я разорву их все на мелкие кусочки,
Которые сгорят в огне.
Лишь пламя.
Когда-нибудь ты прочитаешь сказку.
И черный снег вдруг упадет на руку:
Он никогда не тает.
Ты все вспомнишь.
Я знаю, что ты воскрешаешь пепел.
Он так послушно у тебя в руках
Стихи читает.
Ты их не слышишь.
Я сказку напишу про черный снег.
Он ночью падает на ветки сосен.
Вот только пепел не растает никогда.

Мне идти по скале вдоль обрыва,
Что же — лучше, чем вовсе пропасть.
И пульсирует без перерыва
Одна мысль: не упасть, не упасть!
С каждым шагом тропинка все уже.
Повернуть? За спиною тупик...
Стена — лед! Каждый камень бездушен,
Только б мне не сорваться на крик.
Я молюсь, но не слышу ответа,
Я шепчу: «Помоги и спаси,
С каждой каплей заката, рассвета
Мою жизнь по скале пронеси».

Андрей Андреев

ИГПИ, III курс

РЕВНИВАЯ ИРОНИЯ

Как живешь ты с чашей желчи:
Пьется? не горчит? не жжет?
Как живешь ты с воплем? — Молча?
С гласом воющим? — Поет?

Как живешь с куском фарфора?
Не царапает ли в грудь?
А глаза? Полны ль задора?
На авось? На как-нибудь?

Как живешь с унылой глыбой?
Спится ли? И мягко ль спать?
Как молчишь с немою рыбой?
Говорящей — не поймать?

Как тебе с охапкой сена:
Мягко ли? Иль не обнять?
Говорящее ль полено?
Голос чист? Иль — как сказать?

Как бредешь с немим по полю?
По песку, по мостовой?
И не хочется ль — на волю?
Нет? Никак? — Смотри, не взвой...

Я ЛЬ ТОСКУЮ ПО ВЕШНИМ ПОТОКАМ...

Я ль просил вас ко мне прикоснуться
Душой — в душу, рукою — в огонь...
Я ль молил лишь на миг оглянуться
И прижаться — ладонью в ладонь...

Я ль согласен еще присмотреться
К неразгаданным взглядам в дыму...
Я ль просил — близ души! — отогреться...
Только зреет вопрос: а к чему?

Я ль способен навеки остаться
В вашей храмине — ближе к огню...
Я ль сумею в толпе обознаться
И исчезнуть — к новому дню...

КАК НИ СТРАННО...

Как ни странно — дрожь от мороза
Скроет ловко, что где-то гроза...
Как ни странно, но вот... эти слезы... —
«От мороза слезятся глаза»...

Как ни странно, румянец — от водки:
Кровь — волною! — на части рвет грудь.
Смех — от хмеля — не от щекотки —
«Только это — пройдет как-нибудь»...

Как ни странно, — срывается голос. —
«Тяжело на морозе дышать».
То, что есть, — из надуманных полос
На снегу — не судьба рисовать.

Как ни странно, но весны не снились
(в обрамленье слепящих лучей!),
А глаза... просто так увлажнились —
«Просто так — от бессонных ночей...»

Анастасия Васильева

ИГПИ, II курс

Босыми душами по лезвию любви,
Скользя и падая, любя и ненавидя,
Идем всю жизнь, и нет конца пути,
Летим, осколков душ в пути не видя.

Молчим, читаем, пишем, говорим,
Следим, надеемся, порой кричим и плачем,
Не зная, что любовь — весенний дым,
Рассеется, коль выбор неудачен.

Нагой душой по лезвию скользя,
Тебя люблю душой кровоточащей.
И зная, что тебя любить нельзя,
Скрываю боль души моей молчащей.

Она открыта только для меня,
В моих стихах, написанных недавно,
И отблеском закатного огня
К тебе всегда стремится неустанно.

Душой израненной, но преданной тебе
Люблю тебя так трепетно и нежно.
Ты — сладость-боль в растерзанной судьбе
Души, которой гибель неизбежна.

Страница поворота

Ирина Арфьева

ИГПИ, II курс

ДВА СЛОВА

Есть на свете слова
Их ценней в мире нет:
Бесконечное «да»
И суровое «нет».

Тает в дымке рассвет,
Выпадает роса...
Леденящее «нет»
И прекрасное «да».

Мир лучами согрет,
И плывут облака...
Величавое «нет»
И нежнейшее «да».

Если спросишь ответ
На любовь у меня
Не скажу тебе «нет»
Прошепчу только «да».

РЕПЕТИЦИЯ

Переживаю роль, но не живу,
Глотаю слезы... Жгучий полумрак.
И в этот вечер я опять умру,
И снова тьма наденет жуткий фрак.

Я умираю на чужих руках.
На ширме тени... Сдавленные вздохи.
И кто-то что-то скажет впопыхах
И уличит в игре моей подвохи.

Терять любимых, боже, тяжкий крест!
Но мой партнер не чувствует душою
И ждет, что режиссеру надоест,
И это он заменит новой ролью.

А режиссер-безумец так красив!
Только и знает, что кричать: «Не верю!»
А у меня уж не осталось сил,
Я, словно угли тающие, тлею.

И вот уже сильней мутнеет взор,
И я уже по правде умираю,
Но вновь кричит безумец-режиссер,
Что сердце я его не задеваю.

Идет по сцене — я уже в огне,
В агонии последней догораю.
Сквозь смерти плен я слышу, как во сне,
О том, что я неправильно играю.

Петр Неупокоев

ИГПИ, V курс

* * *

Когда весь мир, как чаша испытанья,
Где капля каждая — терпения слеза.
Мне не найти иного оправданья
Взглянуть еще хоть раз в твои глаза.

Найти тебя среди дождей осенних,
Среди мирских невзгод тебя найти.
И засыхать от тяжестей последних,
От горестей на жизненном пути.

Не будь последней каплей этой чаши.
Хотя бы миг, но все же будем нашим.

* * *

Просохший лист истлеет на заре,
И жизни сладкий дым бесследно растворится.
Ему останется лишь Господу молиться,
Чтоб ты жила, и жизни акварель

Была бы памятью о некоем листочке,
Который иссыхал под тенью ложных грез
И укрывал тебя от слез,
И посвятил тебе последних восемь строчек.

Марина Васильева

ИГПИ, V курс

* * *

Снег идет, а жизнь остановилась.
Глухо по безвременью бегу.
Зеркальце в руке моей разбилось.
Выроню — заметить не смогу.

Стихотворения

Сердце бьется гулко, замирая.
Стылую в нем чувствую иглу.
Страх рукою горло мне сжимает.
Мимо жизнь — заметить не смогу.
В ватной тишине несутся ноги.
«Миг, остановись!» — кричу в бреду,
Но кругом шоссеиные дороги...
Тропок путаных заметить не могу.

* * *

Я вышла в ночь из комнаты одна.
Здесь коридоров длинных вереница.
Зажгу свечу. За облаком луна.
Мне по ночам зимой совсем не спится.
Повсюду здесь большие зеркала,
По стенам тени прядают в потемках.
Шаги так гулки. В очаге — зола.
Я здесь была еще совсем ребенком.
Я в сад сбегу. Там летний воздух свеж.
Там сонная сирень стущает росы.
И, словно бы зеркал пройдя рубеж,
За речкою крестом сверкают звезды.

Анна Сиротюк

ИГПИ, V курс

* * *

Все будет: пожелтевшие миры
Каких-то поздравительных открыток
И сахар подмороженной листвы,
И белый шоколад асфальтных плиток.

В моих глазах с хрустящим холодком,
В моих мирах, слезливых и соленых,
Величие возникнет колпаком,
Величие стуситися ореолом!

И вот тогда все будет: хрустали
Шипящих звезд прожгут небесный...
А мой герой признается в любви,
И сразу же полезет целоваться.

ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОДОК

Рассказ

Дворик, образованный несколькими панельными домами, был уютен. Посаженные когда-то рядами кусты сирени разрослись, давая тень на скамейки и столик — место сбора пенсионеров. Невдалеке стояла огромная сосновая чурка, на которой при необходимости рубили мясо. В песочнице играли малыши.

В один прекрасный день техник домоуправления, пожилая легкая на ногу женщина, объявила сидевшим на лавочке старым людям:

— Завтра здесь будут строить волшебный городок! Чурку эту уберите куда-нибудь. Кто ее хозяин?

— Да это Веня-шофер когда-то привез, она и прижилась тут. А он давно уж съехал с квартиры. Вы уж сами приспособьте ее куда-нибудь, — ответствовала шустрая бабушка Кузьминична.

На следующее утро двор наполнился гулом моторов грузовиков, компрессора, кликами рабочих. С машин сгружали вырезанные из дерева лакированные деревянные фигуры, в быстро выкапываемые ямы ставили столбы, сколачивали доски и бревна. Все было подготовлено великолепно, а веселые сильные плотники сами казались прилетевшими из какой-то сказки на ковче-самолете. Ребятишки таращили глаза на все происходящее, подмечали все, обсуждали, что есть что: где встанет Баба-яга, где сядет добрый массивный книзу крокодил Гена и что это будет за крепость в углу городка. Плотники на все вопросы отвечали кратко:

— Сами догадаетесь! К вечеру все поставим, вот и увидите!

Они спешили, и к вечеру все было готово. Чурку, на которой рубили мясо, они вкопали под угол крепости в качестве опоры.

Только они уехали, дети буквально облепили гладкие фигуры: забирались на спину крокодила, на плечо Бабы-яги, на коле-

ни медведя, скатывались с горки крепости. Все было прочнейшее и красивое. Ребятишкам было интересно ловить взгляд Бабы-яги: хотя сами глаза были, как и вся фигура, вырезаны из дерева и зрачки были просто углублениями, благодаря искусству художника взгляд существовал и при определенном ракурсе его можно было поймать... Веселый гвалт не прекращался до самой полуночи.

Вакханалия освоения городка продолжалась несколько дней. И хотя взрослые настойчиво призывали ребятишек побережь фигуры, удержать их от лазанья было невозможно. Да и сами фигуры, казалось, обладали истинно сказочной прочностью.

Так продолжалось недели, месяцы, настала зима, горки полили водой до обледенения, но катанье шло непрерывно, и лед скоро протерся до досок, но они отполировались до блеска и, увлажняемые снегом с одежды малышей, служили прекрасно.

Однажды во дворе в очередной раз показался Геша по прозвищу Обезжиренный, долговязый нескладный подросток семнадцати лет. Стоило ему выпить, как в него вселялся бес разрушения. Тогда он бил бутылки, ломал скамейки, сучья деревьев, пинал кучи мусора. Все уже знали эти его повадки и противостояли этому наваждению как могли.

Геша с открытой бутылкой в кармане полез на невысокую эстакаду крепости, с которой спускалось вниз несколько горок с перилами. Съехав с одной из них, он упал, и из бутылки забулькала водка. Это не понравилось Геше:

— Ну, мужики, мы так не договаривались!

Допив водку, он принялся пинать ногой доски, которыми были плотно обшиты стенки крепости. Доски стояли как влитые и не поддавались. Тогда он запустил лапу в спутанные волосы, повернулся к ограждению

задом и ударил ногой в доску что было сил. Доска жалобно взвизгнула на весь двор, как живое существо и, выгнувшись, отлетела. Этот громкий звук всполошил пенсионеров, мирно устроившихся дома возле телевизоров и за домашней работой. Кузьминична тут же вылетела во двор и закричала:

— Ты что сказочный городок ломаешь, ирод проклятый? Да я завтра же самому мэру позвоню! Да я шас участковому позвоню и заявление на тебя дам! Ты поплачься тут! И поплачешься еще!

Геша, втянув голову в плечи, быстро ушел. Позвали соседа, который, вооружась молотком с гвоздями, прибил доску на место. Наутро она снова оказалась оторвана. Пришли два столяра из домоуправления и прибили доску такими гвоздями, что ее можно было только сломать, но не оторвать.

Вечером к крепости подошел Геша, погладил рукой отремонтированное место, присел рядом на ступеньку и долго курил, задумчиво оглядывая фигуры. Вспоминал ли он детские сказки? Какое волшебство совершалось в его душе, какой поворот в его сознании можно было прочесть в его невыразительных, но уже не пьяных, не мутных зеленоватых глазах? Никто этого узнать не мог, но со времени этого происшествия частенько бывало, что если кто-либо покушался на целостность городка, откуда-то выскакивал Геша и кричал внушительно:

— Ты что, шнурок, сказку сломать хочешь? Да я тебя поломаю!

И нарушитель спокойствия спасался бегом. Глядя на охранительную фигуру Гешы, можно было поверить, что, какая бы судьба ни постигла сказочный городок, в душе парня уже выстроился идеал сказочного уголка для детей во дворе, который он построит когда-нибудь здесь или в другом месте.

Все шло хорошо до апреля, пока Гешу не взяли в армию. Все хорошо было до самого мая — казалось, незримый дух хранителя отпугивал хулиганов. Но... вечера становились все длиннее, взрослые уставали на работе, а городок был местом паломничества подростков со всей округи. Бес разрушения, взбудораженный весенними токами теплого воздуха, разыгрался снова.

Доски из стенки крепости были выбиты во многих местах, и их уже никто не восстанавливал. В ставшее доступным пространство под эстакадой лазили бездомные собаки, грызли оставшиеся доски. Потом настала очередь Бабы-яги, этого символа зла, который своим видом возбуждал агрес-

сию. Кто-то умудрился выбить из ее рук толстенную, многими гвоздями приколоченную метлу, и она теперь судорожно сжимала пустое пространство. Потом кто-то отбил кусок борта ступы и одну руку.

Бегемоту, вытесанному из огромной лиственницы, казалось бы, трудно было нанести ущерб. На него любили взбираться малыши и бегать по его массивной, словно каменной спине. Его толстые щеки, огромный нос, казалось, таили мощную силу. Однако по какой-то таинственной причине невозмутимому добряку бегемоту был нанесен следующий колоссальный по силе удар, расколовший его вдоль пополам. Видимо, группа подростков орудовала кувалдой и клином. Теперь малыши подходили к половинкам бегемота, забирались наверх, пытались пройти по острому хребту, но падали и плакали. По просьбе одной мамы из домоуправления пришла машина, дворники погрузили изуродованные фигуры и увезли.

Год спустя в городке оставалось все же много фигур: крепость с отбитыми досками, оборонительный вал из вкопанных в землю бревен, по которым лазили малыши, качели из досок, перекинутые через толстые бревна. Стояла Баба-яга в половинке ступы, обнимающая воздух. На фигуры уже не покушались хулиганы. Может, их останавливала драматичность вида Бабы-яги, которой вместе отбитого выпуклого деревянного глаза кто-то вставил доньшко пивной банки, придававшее ее лицу тоскливое выражение, а может, им просто наскучило это занятие.

Однако весной случилось непредвиденное. Проходил общегородской субботник по очистке города, и повсюду во дворах люди сгребали накопившийся за зиму мусор, сухие листья и сжигали их. Одну такую кучу зажгли возле остатков волшебного городка, в метре от стенки крепости, несмотря на протесты Кузьминичны. К вечеру от костра осталась мирно дотлевающая куча углей, однако вдруг налетел шквал и раздул пламя, а от него загорелась стена крепости. Сухие доски вспыхнули быстро, как хворост, а во дворе рядом никого не оказалось. Вызвали пожарных, они приехали на удивление быстро, но от крепости остался обугленный остов. На следующее утро двое рабочих сгребли в машину обугленные остатки крепости. Они хотели выкопать и увезти покалеченную Бабу-ягу, но вышла Кузьминична и налетела на них:

— Вы что? Сказочный городок доламывать?

И она вставила ей вместо донышка банки принесенный из дома голубой пластмассовый глаз куклы, что придало лицу Бабы-яги с длинным выступающим подбородком мечтательное и задумчивое выражение.

Я побывал в этом дворе летним вечером лет через десять после описанных событий. На месте волшебного городка уже была асфальтированная площадка, уставленная запаркованными автомобилями. Их гладкие блестящие плоскости равнодушно отражали свет окон, безупречный дизайн не вызывал ассоциаций ни с Бабой-ягой, ни с

мишкой косолапым, ни с крепостью-острогом. И лишь в одном месте, на газоне под кустами сирени, виднелась вкопанная в землю огромная колодина, кажется, бывшая когда-то фундаментом угла крепости. Возле нее виднелись две фигуры: старик замахивался топором, а старушка придерживала в нужном положении говяжью косточку. Я спросил у них:

— Здесь был волшебный городок?

— Да... мил человек, было. А теперь видишь, ему бы и места не нашлось: одни машины! И чего ездят туда-сюда? — ответила старушка, аккуратно собирая в ладонь кусочки мяса.

Анастасия Сергеева

г. Иркутск

ЧУДЕСА В ДЕРЕВНЕ БУРОЙ

Рассказ

Для Ники чудеса закончились не к десяти годам, а раньше, гораздо раньше. Кажется, ей было четыре. Или около пяти? В пришедшем к ребятишкам на новогодний праздник в старенькое, дышащее на ладан здание садика Деде Морозе Ника узнала соседа Егорыча. Красный нос, борода, шапка совершенно скрывали лицо. Но от него пахло портвейном. «Не может быть», — твердо сказала себе девочка и изо всех сил затаила дыхание. Но долго так она не смогла — уткнула нос в манжетку платья и задыхалась часто-часто, зажмурив глаза. Бодрый голос Деда Мороза, его шутки-прибаутки успокаивали, и чудо оставалось живым, витало рядом с ней теплым облаком. Но тут воспитательница отдернула Никину руку от лица и вывела девочку к елке — читать стихотворение. Ника читала о зайке, брошенной хозяйкой, невнятно и тихо, не поднимая глаз и стараясь вдыхать часто и мелко. И все смотрела на красные варежки Деда Мороза — он пытался развязать узел на мешке с подарками. Узел не поддавался, и одну варежку Дед Мороз снял. Ника увидела морщинистую руку с большим, темным, неровно обрезанным ногтем на указательном пальце. Так же близко она видела этот палец, когда смотрела в шелку соседского

забора. Егорыч стоял, крепко ухватившись за ствол березы, слегка покачивался и все повторял одну и ту же странную фразу: «Не тронь воню мою психологию, дура». А жена его, рыжая, толстая тетка Татьяна, громыхала чем-то в сенях.

Дед Мороз протянул Нике подарок. Она взяла и неловко отступила за спину воспитательницы. Вынула из кулечка батончик «Буратино» и засунула его себе в рот. Батончик был приторно сладким. В ушах звенело. За батончиком Ника съела печенье «Молочное» и кислое зеленое яблоко. Затем развернула ириску «Кис-кис», положила ее на язык. Дед Мороз зычно призвал ребят встать в хоровод вокруг елки. Портвейновый запах ударил Нике в лицо. Ее затошнило. Она бросилась в туалет...

...Воспитательница потом отмывала холодной водой ее платье. Ника тупо смотрела в белую раковину и машинально повторяла про себя непонятные слова: «Не тронь воню мою психологию, дура». Теплое облако-чудо растаяло, исчезло.

А вообще-то Ника жила неплохо. Отца не было отродясь, но мама была. Невысокая, худая, с бледно-серыми размытыми глазами. Мама все больше молчала, и Ника как-то приспособилась к этому мол-

Ника чудеса

чанию, даже полюбила его. Слова бывают резкими, грубыми, слова имеют запах портейна. А молчание ничего не имеет. Ни хорошего, ни плохого. Оно более надежно. Днем у мамы лицо напряженное, будто собранное в кулак. А во сне мама красивая. Размягчаются черты лица, на ресницы ложится утреннее солнце, и они отбрасывают тени на щеки. Ника улыбается спящей маме. В конце концов, жить можно и без чудес.

Их дом стоял на окраине деревни Бурой. На вопрос, почему она так называется — Бурая, — мама ответила исчерпывающе и кратко, как всегда: «Земля-то бурая. Земли здесь много». И правда, много. Сразу за деревней — огромные бурые поля. Ника садилась на корточки, брала землю в горсть. Бурая — это почти коричневая, и еще немного черная. О любви к родной земле им говорила учительница еще в первом классе. Ника изучала землю на запах, на вкус, на прикосновение. Ей нравились совсем другие цвета — сиреневый, желтый. Ей нравился запах ландышей, а вкус — малины. Любить землю не получалось...

Осенью деревня сплошь покрывалась листьями, там же бурыми, как земля. «Деревня умирает», — говорили взрослые. Ребятишек было мало, школа — только начальная. Все, кто мог уехать, уезжали. Ника знала — где-то там, за бурыми полями, совсем другая жизнь. Мелькающие по телевизору яркие картины подтверждали это. У Ники рябило в глазах, и она отворачивалась. Другая жизнь? А какая она — другая? «Подкопим денег — поедешь учиться в город, — сказала как-то мама, недобро поджимая губы. — Нечего тебе тут... как мне...» «А в городе земля другого цвета?» — спросила Ника. «Почему другого? — удивилась мать. — Там асфальт. Дороги ровные-ровные». — «А асфальт какого цвета?» — «Асфальт серый». «Серый, — разочарованно повторила Ника. И помолчав, добавила. — Я не хочу в город, мама». Мать вдруг заплакала, неприятно сгорбившись. Плакала она недолго — с полминуты. Потом взяла пустое ведро и вышла. Ника пожала плечами и выключила телевизор. Она уже знала, что чудес не бывает. Чудеса кончились там, над белой раковиной в детском саду.

На какое-то время, совсем ненадолго, Ника выбрала объектом своей любви маленькую железнодорожную станцию в километре от деревни. Грохочущие поезда без остановок пронеслись мимо, и девочке

казалось, что они летят вовсе не к серым асфальтовым городам, а к морю, которое синее и которое очень далеко. Оттого-то они так спешили, эти поезда, — спешили сменить цвет, из серого и бурого ворваться в солнечную синь. И правильно, что они неслись без остановки, — разве можно тратить время, когда впереди море? Но любовь эта для Ники кончилась, когда один из стремительных составов-громадин раздавил старую полуслепую и полуглухую собаку, задремавшую на шпалах. Конечно, собаке и так скоро было умирать. Но она бы еще пожила, она ведь этого хотела. Несмотря на старость и никчемность, это была на удивление радостная собака. Ребятишки подкармливали ее, и собака тихо улыбалась, положив морду на бурую землю. Ей не надо было к синему морю, а поезду надо было. Из-за синего моря не стало старой собаки.

Больше Ника не бывала на станции.

Пришла новая осень, Ника училась уже в третьем классе. Равнодушно сменяли друг друга дождливые и солнечные дни. Резче проявились морщины у мамы, молчание ее стало тягостным, каким-то свинцовым. А когда начинала говорить — обязательно срывалась на высокий, мяукающий крик. Во сне отворачивалась к стенке, буквально прижималась к ней, и Ника уже не видела тени от ресниц на ее лице. Маме плохо, решила девочка и стала любить только ее, маму. Расчесывала ей спутанные волосы, пела песни о родном крае — они такие разучивали в школе. Мама каменела, напрягалась. Дергалось что-то в глубине ее зрачков. А однажды тихо отвела руки дочери от своей шеи, почему-то горячей и влажной. Маме нужна была другая любовь. Чья-то другая. Это было что-то, связанное с темнотой, с тихим и нежным вздохом во сне, с капельками пота на лбу. «Через год поедешь учиться в соседнее село, — тускло сказала мама. — Будешь жить у тети Алевтины». Любовь к маме свернулась в тугой шарик, который закатился в самую глубину сердца.

Из школы Ника брела медленно, ступая по бурым листьям. Деревня дремала, перекликалась вялыми голосами. Пьяненький Егорыч вел за рог козу Гриньку. В лужах плавало сонное белесое небо.

На скамеечке у дома шумных и крикливых скандалистов Макошиных сидели самый старший и самый младший Макошины — шустрый старик Филимон Трофимович, медленно и вяло умирающий от полиартрита, и годовалый правнук его Тимошка, удивительно похожие друг на друга, с одинаковыми

сморщенными лицами и близко посаженными темно-карими полусонными глазами. Старик из-за ветхости и хрупкости костей почти не ходил, поутру добредал до скамейки и сиживал на ней дотемна, а брошенный на его попечение ребенок покорно и смиренно притыкался рядом, изредка делая три-четыре неуверенных шажка на кривеньких ножках в радиусе двух метров от скамейки. Дом Макошиных вечно бурлил и шумел, недобро хлопал дверями, раздражался женскими яростными и бессильными слезами, цедил низкими мужскими голосами матерные слова, звенел посудой, визжал бензопилой «Дружба» и пьяно хохотал — все это текло мимо старого да малого, не задевая их задумчиво-отрешенных, каких-то нездешних лиц.

Ника тихо поздоровалась со стариком. Филимон Трофимович перевел на нее тусклый взгляд, покивал со слабой беззубой улыбкой. Что-то грохнуло в доме, посыпались осколки стекла. Старик болезненно вздрогнул, пошевелил губами и протянул руку к Тимошке — то ли пытаюсь его защитить, то ли ища в нем защиты. Мальчуган ухватился за изуродованный артритом дедов палец и засмеялся бессмысленным смехом.

— Сволочи все, дебилы, импотенты! — закричали в доме.

Ника закрыла глаза и пошла дальше на ощупь. Ни с кем не столкнулась. Мимо прокотал мотоцикл, подняв столбом пыль.

На следующий день она заболела. Пять дней лежала с температурой, пила бульон маленькими глотками и ни о чем не думала. Кожа обтянула скулы, губы были сухими и горячими. «Включить телевизор?» — спрашивала мама. «Не надо», — отвечала Ника. Мать смотрела на нее почему-то со страхом.

На шестой день температура упала, Ника поднялась с постели, оделась и пошла в школу. Вечером они с одноклассниками жгли костер за деревней. Ника ела печеную картошку и слушала, как мальчишки, упиваясь своей несуществующей взрослостью, произносили плохие слова. Она была пуста, как воздушный шар, накачанный не кислородом, а нелетучим бурым веществом без названия.

Утром второго октября Ника проснулась от слова «чудо». Сначала она решила, что это часть сразу ускользнувшего от нее сна. Что же ей приснилось? Она лежала и смот-

рела на трещинку в потолке, криво залитом скудненьким солнцем. И тут слово вновь прозвучало. Чудо. И произнесла его, судя по голосу, рыжая, толстая тетка Татьяна, соседка.

— Чудо, чудо, — взбудоражено повторила она.

Ника приподнялась на локте и выглянула через окошко во двор. Там стояли и оживленно о чем-то разговаривали ее мать, тетка Татьяна и Валентина Владиленовна, высокая старуха лет семидесяти, живущая через три дома от них.

— Кара Господня, — низким и хриплым голосом заявила она. — Бога забыли, вот что. Вот вам и пожалуйте.

— Как-то же можно объяснить... — неуверенно пролепетала Никина мама.

— Никак! — отрезала старуха. — Никак не объяснить!

— Чудо, — упрямо стояла на своем тетка Татьяна.

Ника выскользнула из-под одеяла и потянулась за платицем. Ее почему-то лихорадило.

Хлопнула дверь, вошла мать с охапкой дров.

— Что в такую рань? — спросила она. — Воскресенье же.

— Какое чудо? — голос плохо подчинился Нике.

— Да никаких чудес, — мама бросила дрова у печки. — Все можно объяснить.

— А о чем вы говорили?

Мать сжала губы.

— «Кара Господня», — довольно удачно передразнила она Валентину Владиленовну. — Сейчас нагонит страху на всю деревню. Народ-то темный.

— Мама...

— Одевайся, — сухо бросила та. — Пол студень.

Ника оделась и вышла на улицу. Обычный серый октябрьский день. Никакого чуда нигде не видно. Ника села на крыльцо и неожиданно для самой себя разревелась. Ожесточенно вытерла слезы и стукнула каблуком ботинка по мерзлому кому бурой земли.

— Эй, Ника, — раздался голос из-за забора. — Про чудо слышала?

Она вздрогнула. Над калиткой висела чужая физиономия одноклассника Витьки.

— Дурак, — с замирающим сердцем буркнула она. — Все можно объяснить, понял?

— Так ветра же нет, — хмыкнул Витька. — Как объяснишь?

— Какого ветра? — удивилась Ника.

Мир вокруг

— Пошли, — снисходительно сказал он и спрыгнул на землю. — Сама убедишься.

Он привел ее на другой конец деревни, где на пригорке собралось довольно много народу. Старики суетливо крестились, немногочисленная молодежь зубоскалила. С пригорка хорошо была видна маленькая заброшенная церквушка, настолько ветхая и жалкая, что непонятно, как только уцелела после последнего довольно серьезного землетрясения. В эту церковь давно никто не ходил, ступени ее обсыпались, с купола слезла вся позолота. А уцелевший колокол со свисающей ветхой веревкой... Колокол звонил. Звонил сам по себе.

— С ночи началось, — объяснил Витька. — Из нашего дома слышно было. То зазвонит, то смолкнет. И никакого ветра.

— Страшный суд скоро, — объявила Валентина Владиленовна, стоявшая тут же. — Это знак. Чего достойны, то и имеем.

— А может, балуется кто-то? — робко предположила продавщица из сельпо Наталья, почесывая руку. У нее был сильный дерматит.

— Э, милая, — протянул непривычно серьезный Егорыч, — там же замок несорванный. Заперт наглухо, да еще и заржавел. Сам проверял. Никому туда не пробраться.

— Он это, — охнула жалобно почтальонша Крымова. — Господи наш всевышний. А может, добрый это знак, а не злой? Может, грядет второе пришествие?

Никто ей не ответил. Колокол молчал примерно минуту и вновь издал глубокий, чистый, молитвенный звук.

— Пойти бы туда... — раздался за спиной Ники неуверенный голос их старенькой школьной учительницы Нины Евлампиевны. Долгие годы она твердила ученикам, что Бога нет, а теперь о чем твердить, не знала. Все больше читала стихи о родном крае.

— И не думайте! — громынула Валентина Владиленовна. — Внимайте и мыслите об самих себе, а приблизитесь — еще больший грех сотворите, потому что недостойны. Грехи велики ваши, вот что это такое. Ночью звон, должно, стихнет.

Валентину Владиленовну в деревне уважали. Помолчали немного. Стих и колокол.

— А меня мальчонком крестить хотели, — пробормотал Егорыч. — Бабка не дала. Она комиссаровой женой была.

От Егорыча пахло портвейном. Жалобно заблеяла его коза Гринька. Будто в унисон с ней послышался новый удар колоко-

ла — на этот раз сильнее, чем обычно. Егорыч вздрогнул и покосился на оттопыренный карман своей штанины. Оттуда торчало горлышко бутылки.

Ника круто развернулась и пошла по направлению к дому. Звуки распалившегося колокола плыли вслед за ней, царапали спину, забегали вперед, словно раздвигали пространство... Девочка увидела, как в проеме серых туч, залепивших осеннее небо, показался пронзительно синий лоскуток.

— Че ушла? — спросил запыхавшийся Витька, поравнявшись с Никой.

Она остановилась, долго, очень долго смотрела в зеленые, в густых белесых ресницах глаза мальчишки.

— Ты че? — удивился он и густо покраснел.

— Витька, — голос Ники дрожал, — ты думаешь, это Бог звонит в колокол?

— Не знаю, — он почесал нос. — Откуда мне знать? Вообще-то я неверующий.

— И я вроде тоже, — созналась она.

— Наука должна разбираться, — с сознанием дела заявил Витька, — а не эта дура Владиленовна. У нее труха вместо мозгов.

— И ты сейчас... — глаза у Ники заблестели. — Пойдешь сейчас гонять в футбол, да?

— Чудная ты, — он был озадачен. — А че делать-то?

— И все разойдутся, — она слотнула комок в горле, — а к ночи звон стихнет, да?

Витька совсем растерялся. А когда он терялся, то сразу начинал грубить.

— Да почему я знаю! — он смачно плюнул на землю. — Дашь русский списать?

Ника тихо отступила от него и побрела дальше.

Витька смотрел ей вслед с дурацким и неприятно тоскливым чувством, запутавшимся где-то под ребрами.

Колокол звонил.

* * *

...Когда стемнело, звон над деревней смолк. Некоторые из жителей Бурой еще потолклись на пригорке над церквушкой, посудачили о каре Господней и втором пришествии, да и разбрелись по домам.

Ника свернулась калачиком на топчане, укрывшись старенькой телогрейкой. Ее знобило, зубы стучали.

— Только недавно переболела, — ворчала мать, с хрустом вспарывая на кухне пузо огромной рыбины, — опять двадцать пять?

Носишься по деревне в ботинках на босу ногу!

— Я здорова, мама, — ответила Ника, с трудом разлепив застывшие губы.

— Здорова! А чего лежишь? Ваши вон в кино пошли. Американское, с Бритней Пирс.

— Бритни Спирс, — машинально поправила девочка.

— Ну и чего ты?

Ника промолчала. Мать вздохнула и отрезала рыбку голову от туловища. Масло уже скворчало на сковородке.

В полуоткрытую форточку слышно было, как в соседней ограде ругались Егорыч с теткой Татьяной. Где-то брэнчала гитара, фальшивые аккорды весело срывались с плохо натянутых струн. Гнусаво прокричал кот, из кустов ему ответили призывным мурканьем. Звякнуло ведро о крышку колодца. Егорыч со своего крыльца пьяно и горестно запел о далеком Цусимском проливе.

— Козлище двуногое, — всхлипнув, отчетливо произнесла тетка Татьяна.

Ника закрыла глаза. Сквозь ее впавшее в ступор сознание бесконечной вереницей плыли куда-то стаи лебедей.

Она уснула, не раздеваясь, без ужина, странным полубморочным сном без отчетливых сновидений, а с чем-то непонятным — ведро спускалось в колодезь; скрипела, вертелась ручка, а ведро все не достигало поверхности воды, и разматывающаяся проволока никак не кончалась... Хотелось пить, а желанного всплеска все не было. Наконец ведро наполнилось хрустальной, чистой водой и медленно поехало вверх. В нем плескалась, извивалась рыба с круглыми, недоуменными глазами. «Острый у вас нож?» — беззвучно спросила она...

...Глубокой ночью Ника открыла глаза. Было темно и тихо. В соседней комнате сонно и тяжело дышала мама. В черном окошке висел тусклый рожок месяца.

Ника встала, бесшумно натянула на себя ботинки, кофту, куртку, захватила фонарик. И пошла к дверям, стараясь ступать по не скрипящим половицам.

...Деревня спала. Собаки вяло потягивали на Никины шаги. Девочка шла без всякого страха — для него в душе просто не осталось места. Все ее существо было заполнено ожиданием. И она слышала.

...Колокол гулко звякнул и смолк. Через минуту зазвучал дробно, жалобно, как-то суетливо. Снова пауза — и внушительный

одиночный удар. Ника достигла пригорка. Тихо опустилась на ворох бурых листьев. Месяц завис над покосившимся куполом бледно-желтым полунимбом.

...Колокол звенел и замолкал, менял интонации, силу ударов, и в этом хаосе звуков читалась потрясающая по красоте гармония. Ника слушала как зачарованная. Таял лед на сердечной корке, таяло, утекало водой ее ревниво запертое от всех в душе одиночество. Приятной горечью пахла сырая бурая земля — свидетельница и соучастница Никиного ночного чуда...

Ника совсем околела, но заметила это только тогда, когда колокол в очередной раз умолк. «Раз, два, три, четыре, пять...» — считала девочка про себя секунды тишины. Они складывались в минуты. Потом в полчаса, в час. Колокол молчал. Пространство едва заметно посветлело — приближалось неумолимое утро.

Ника сидела неподвижно, оцепенев. Тишина давила, сводила с ума. Похоже, все было кончено.

«Ночью звон, должно, стихнет...»

...Горячая волна поднималась от живота к сердцу и дальше — к глазам, к ушам, оглохшим от холодного безмолвия. То, что необъяснимо, чему нет названия, больше не существовало, таяло вместе с ночью, и это было неправильно. Настанет новый день — ну и что? Луна продолжит свой путь, нальется сочным круглым яблоком, а потом снова усохнет в рожок — ну и что? И вон те звезды, что за миллиарды километров отсюда, — не насмешка ли это над маленькой дрожащей девочкой Никой, над ее мамой, над Филимоном Трофимовичем и Тимошкой, над Егорычем и теткой Татьяной? И грохочущие поезда будут мчаться к асфальтовым городам и даже к синему морю, забыв о старой собаке, которая умела радоваться, — ну и что? Что? Что?!

С отчаянием, почти с гневом смотрела Ника на молчащий колокол. И вдруг сорвалась с места и помчалась вниз по пригорку — к церкви.

...Тяжелый и ржавый замок, ледяной на ощупь, был заперт. Безнадежно подергав его, Ника обошла церковь кругом. С обратной стороны на высоте около двух метров виднелось маленькое окошко, криво заколоченное одной-единственной доской.

Девочка огляделась. Ближайший дом к церковке — тот, где живет одноклассник Витька. Вон чернеющий остов сеновала и лестница к нему. Не было никаких мыслей

Мир чудовищ

у нее — совсем никаких. Только безудержные горячие волны, одна за одной — от живота к сердцу, от живота к сердцу.

Ника приволокла лестницу, почти не почувствовав ее тяжести, приставила к окошку и полезла вверх. Рванула на себя доску. Прогнившая насквозь, она поддалась сразу, с унылым, чавкающим хрустом надломилась посередине. Образовавшийся проем был узок, внутри — крошечная темнота. Ника достала из кармана фонарик, скинула вниз куртку и стала протискиваться внутрь. Неровные края доски зацепились за кофту, вытянули нитки, больно опарали спину и нехотя впустили незваную гостью в пахнущую сыростью и тлением тьму.

Секунду Ника стояла и без всякой боязни смотрела в безликую черноту. Потом включила фонарик и осветила путь к узенькой серповидной лесенке, ведущей наверх, к колоколу.

«Приблизитесь — еще больший грех сотворите», — зловеще хохотнул в ее памяти голос Валентины Владиленовны.

«Грех — это когда молчит колокол», — твердо возразил кто-то из глубины Никиного сердца.

...Девочка поднималась, и все скрипело, стонало, рушилось и сыпалось под ее ногами. Кружок от фонаря полз на шаг впереди. А когда ступеньки, вернее, то, что от них осталось, кончились, Ника подняла фонарь и обнаружила, что стоит буквально в метре от колокола. От молчащего колокола.

...Как во сне она подошла к нему. Протянула руку, коснулась веревки. Медленно натянула ее и отпустила.

Дон-н-н...

Звук — такой непривычно близкий и громкий, такой настоящий, осязаемый и вместе с тем мифический. Звук, на одно мгновение продливший чудо. Звук, напоминавший о чуде. Звук, попрощавшийся с ним.

...В следующее мгновение мимо Ники что-то стремительно пронеслось и ударилось о стену. От неожиданности она вздрогнула, потеряла равновесие и, выронив фонарь, шлепнулась на четвереньки. Ей вдруг показалось, что рушится церковь, вся деревня, лопаются серый асфальт в городах, синие моря выходят из берегов, и весь земной шар разлетается на кусочки.

— Мамочка... — еле слышно прошептала Ника, ожидая то ли удара, то ли грома с небес, то ли еще чего, что унесет ее прочь

отсюда, от ее десяти земных лет, а мама останется там, на жестком топчане, прижавшейся к стенке, без тени от ресниц на лице. — Мамочка, мама, мама...

Но ничего не произошло. Только в ответ на Никин шепот кто-то тихо вздохнул в темноте.

Еле гнущейся рукой она нашарила на полу фонарь и осветила стену, со стороны которой донесся звук.

Там была обезьянка. Маленькая обезьянка в синем комбинезончике.

Целую вечность они смотрели друг на друга. У обезьянки были человеческие глаза, а голову она прикрыла длинными лапами, похожими на руки. Судя по дрожи, сотрясавшей тельце, она была до крайности измучена и напугана.

Живая обезьянка, да еще и в одежде. Здесь, в деревне Бурой, где не то что медведей и волков — зайца не встретишь, лес до того нищ и редок, что разве что мышь-полевка проскользнет под ногами. Но Ника совершенно потеряла связь с реальностью, поэтому не удивилась ни капли, а лишь протянула к обезьянке руки. Та еще больше вжалась в стену, глазки ее страдальчески закатились.

— Не бойся меня, — услышала Ника собственный горячий шепот, — не бойся, не убегай... Только не убегай...

...Рассвет наступал, текли минуты, счет времени был окончательно утерян. Ника сидела неподвижно, чтобы не спугнуть маленькое существо в синем комбинезончике. Обезьянка заметно осмелела, приглядывалась к девочке, теребила хвост, крутилась в своем углу, наконец осмелилась подойти ближе, не спуская с Ники внимательных глаз.

Девочка коснулась рукой веревки от колокола. Обезьянка проследила за этим движением, фыркнула, деловито приблизилась почти вплотную к Нике, ухватила лапами за веревку, ловко ее раскачала. И колокол выдал переливистый звон, чистый, свободный, жизнерадостный, окончательно рвущий оболочку сна, в который была погружена деревня.

Ника засмеялась, слезы катились по лицу градом. Она не чувствовала ни рук, ни ног, она замерзала, но не понимала этого. Она будто погрузилась в некое измерение, похожее на прозрачный замкнутый куб, где захлопнуты две двери — за уходящими секундами и за наступающими. Никто не объяснил ей, что все коварство замерзания — в потере ощущения времени, в сладкой

иллюзии погружения в царство вечности и неподвижности, когда голову начинает туманить сон — сон, из которого уже не выйти. Надо было двигаться, пытаться выбраться, звать на помощь — но ничего этого Ника уже не осознавала. Вместо тепла ее окружало, укутывало, баюкало лишенное всякого смысла ощущение счастья. И все, кроме этого нечаянного счастья, стало неважным...

...Обезьянка бросила веревку, забралась на девочку и принялась что-то вычесывать у нее на голове. Ника уже не открывала глаз. На белом лице ее застыла тихая благодарная улыбка.

Обезьянка вернулась к колоколу. На пригорке над церковью начали собираться люди. А Витькин отец уже обнаружил пропажу лестницы от сеновала.

* * *

...На этот раз Ника болела долго, почти месяц. Мама лечила ее народными средствами — натирала мазями, поила отварами каких-то трав, обкладывала горло мешочками с горячей солью. И ни слова упрека не высказала за ночной уход из дому, за то, что девочку едва живую вытащили односельчане из церквушки. Мама по-прежнему была молчалива, но как-то потеплели, ожили растерянные глаза — Ника ловила на себе ее робкий, ищущий, смоченный светлой слезой взгляд.

— Прости меня, мама, — хрипло шептала девочка. И мама клала свою мозолистую ладонь на ее губы, словно просила — не надо. Не надо ничего говорить.

Одноклассники почти каждый день забегали к Нике — в их глазах она превратилась в настоящую героиню, развенчавшую миф о «каре Господней». Чаще других приходил Витька — он был страшно горд тем, что лестница от их сеновала сыграла такую весомую роль во всей этой истории. Витька-то и рассказал Нике, что в тот же день обезьянку в синем комбинезончике приехал разыскивать в Бурую лощеный тип, пахнувший дорогим одеколоном, — дрессировщик из цирка. Оказывается, за сутки до этого на станции остановился поезд, в котором ехал на гастроли цирк. Остановился буквально на минуту, по техническим причинам, а дрессировщик за какой-то надобностью выскочил (на этом месте Витька скорчил уморительную физиономию — мол, ясно, за какой надобностью), а окошко-то в купе не зак-

рыл. Обезьянка вслед за ним и сиганула. Поезд тронулся, дрессировщик на лету ухватился за поручни, а пропажу обезьянки заметил, ясное дело, не сразу.

— Ее зовут Матильда, — с восторгом выкладывал сведения Витька. — Прикинь, у нее номер в цирке — она мелодию на колокольчиках выстукивает! Видать, набрела на нашу церковь, пролезла в дырку над доской, увидела колокол — и давай наяривать. Вот так Господня кара! Так что нет никакого Бога. Верно ты говорила — все на свете объяснить можно. А эта дура Владилевова...

— Замолчи, Витька, — тихо попросила Ника.

— Почему? — опешил он.

Она не ответила. Не хотелось ломать словами хрупкие и осторожные мысли, переплетенные глубокой нежностью. А можно было сказать, что все в жизни способно перестать существовать, должно быть, и жизнь сама. Свернется клубочком в кубе из прозрачного стекла, задремлет и уснет навеки. Один только Бог и останется. Только он один. Тихо тронет неосязаемым дыханием колокол — и тот зазвонит...

Стало очень жаль Витьку. Ника мягко ему улыбнулась.

Витька смутился. А когда он смущался... в общем, ясно, что с ним происходило.

— Долго валяться собираешься? — хмуρο спросил он. — В школу-то скоро?

— Скоро. На будущей неделе.

— Ладно, — он отвел глаза. — Я пошел. Мне некогда.

И выскочил в сени, залихватски грохнув дверь. Мчался по хлопающей грязи как угорелый, шумным дыханием выдавливая из себя запутавшуюся под ребрами тоску.

...Вечерело, солнце уходило за горизонт, густело и темнело золото лучей. Хлопнула калитка у соседей.

— Танька! — безнадежно прогнусавил Егорыч. — Ну ладно пятьдесят. Двадцатку хоть дай...

Что-то хрустнуло и разломилось пополам ему в ответ.

— Чтоб тебя болото по кадык засосало, хряк косорылый! — взвыла на высоких нотах тетка Татьяна.

Ника смотрела сквозь окно на уходящий день и улыбалась неведомо чему. По подоконнику рассыпались цветные карандаши для рисования. Красный, желтый, голубой. Густой малиновый, как кайма света над вечерним горизонтом. Коричнево-бурый, цве-

Мир прован

та земли. Цвета шерстки обезьянки Матильды. Прозвительно-сиреневый, сиреневый... цвета сирени. Она будет в июне — теплая пахучая сирень. Ведь настанет же когда-нибудь июнь. И оранжевый цвет, и зеленый. И серый. И синий...

Со стороны станции прозвучал протяж-

ный паровозный гудок. Привет вам, синие моря и серые асфальтовые города. Синий комбинезончик Матильды. Серые мамыны глаза...

...Был конец октября. Деревню Бурую покрыл первозданно белый и ослепительно чистый снег.



В Иркутском художественном училище положено начало той доброй традиции, когда мы, студенты, имеем возможность и желание передать свое мироощущение посредством поэзии.

В 2000 г. были выпущены в свет два сборника, включившие в себя стихи и прозу студентов нашего училища. Не случайны названия сборников, данные по строкам стихотворений. «Осмотришься в словах». Здесь как бы заложен выбор — слов ли для передачи мыслей читателю, жизненного ли пути? Название второго сборника, «Бегая по крышам», символизирует непостоянство бытия, нашу стремительность и непосредственность.

Жизнь и смерть, любовь и природа — вот волнующие нас темы. Общими чертами в произведениях можно отметить трагизм и надрыв, драматическое восприятие мира, смелость в выборе тем и способов их раскрытия, оригинальность образов.

Для авторов как для будущих художников характерно как живописное, так и декоративное восприятие мира. От первого берем реализм, действительность, глаза, широко открытые в мир. Они оценивают, осуждают или оберегают его. От второго — фантастику, мечты о несбывшемся, неординарный взгляд на мир. Переплетаясь, эти разные суждения дают картину многогранную и неоднозначную.

Вывела же в свет наши литературные мысли Екатерина Геннадьевна Боярских, преподающая в художественном училище русскую и зарубежную литературу и русский язык. Замысел и осуществление проекта по «дополнительной реализации» студентов в наибольшей степени принадлежит именно этому человеку, за что его сердечно благодарим.

Авторы сборников, студенты ИХУ

Елена Шаталина

Я знаю мальчика-чертенка,
Ему б сейчас гореть в аду,
Когда б не эта работенка —
В безумном пребывать бреду,
Бесить людей, вгонять их в краску,
«Чертить чернилами чертеж».
Когда же он снимает маску,
То он — щегол! ревнивый еж!
Зрачки его темнее ночи.
Такой — один... один из ста.
А я смеюсь — он часто очень
Похож на мальчика-Христа.
А я? Похожа на обоих.
Я? — как и все. Ни то ни се.
И я рисую на обоях,
И я надеюсь — будет все!

Частенько бегаю по крышам
И над уроками сижу,
Боюсь, когда скребутся мыши,
И тоже по воде хожу.
Я не типаж. Не дал мне Боже
Быть ясной личностью. Ну что ж?
Так почему меня тревожит
Антихрист, на Христа похож?

МОЛЧАНИЕ

Не надо пламени другого.
На угли чувств — моя слеза.
И я согласна видеть снова,
Как мне молчат твои глаза.
Они молчат, печаль лелея
Своей прекрасной пустотой.
Как бесконечная аллея —
Молчащий взгляд пустынный твой.
Бывало так — молчат и мысли,
Когда не выразить в словах...
Как в пустоте, во мне повисли
Две тишины в моих глазах.

ПО ПУТИ С ДОЖДЕМ

Охрипший от холода ливень
Разбился о мокрый асфальт.
Легко, серовато-наивен,
На тенор сменив прежний альт.
Прозрачно забегали листья
Среди опустевших дорог.
От собственных страхов по жизни
Уставший, опять одинок,
Стоишь, человек, да и только! —
Стеной отражаясь в окне.
И не интересно нисколько,
Когда я счастлива вполне:
Когда я, глаза распахнувши,
Узрела приветливый мир,
А дождь искупал мою душу
В безжизненных окнах квартир.
И зонтики редких прохожих
Мою разгадали печаль,
И в лицах, немного похожих,
Я видела влажную даль...
Меня поприветствовал сухо
Один незнакомый фонарь,
Нагнувшись, шепнув мне на ухо:
«Дождись, не ревнуй, не ударь!»

Я слышала это в чечетке
Дождинок. Одна за одной
Они вдоль железной решетки
Бежали за мною домой.

Юлия Спасовская

* * *

Заплетаю бубенцы
в кружево волос.
Это маленькое лето
Быстро пронеслось.
На моих руках сиянье
пыли и пыльцы,
Пусть поют шальную песню
с ветром бубенцы.
Я бегу по коже леса,
чувствуя душой,
как прекрасен, как чудесен
этот мир большой.
Прибегу к большому дубу
и прижмусь к стволу,
расскажу ему, что шепчут
травы на ветру.
Расскажу, о чем всплакнула
поутру река
и куда роняли звезды
ночью облака.

* * *

Выкрашу ногти в розовый цвет,
Я ночи люблю за их сумрак и свет,
За звездный покой, за фонарную блажь,
За все, что не должен писать карандаш,
За то, что, как две изумрудных свечи,
Сияют глаза мои в этой ночи,
За то, что мне больше не хочется спать.
За то, что другому меня не понять.

* * *

Где-то тонко, где-то звонко
защебечут голоса.
Босоногая девчонка,
с красной ленточкой коса.
Светлой рыжести ресницы,
а за ними зелень глаз,

ножки, тонкие, как спицы,
ворох шумных детских фраз...
Это маленькое чудо,
эта ветреная прыть —
вечно любоваться буду,
коль смогу остановить...

Повзрослеет, присмирится,
боль научится прощать.
Но застынет на ресницах
детства рыжего печать.

ПРОМЕТЕЙ

Она пришла за мной.
Мне некуда укрыться.
Кружит над головой
Безжалостная птица.
Вонзает острый клюв,
И сердце кровоточит,
Кричит моя душа
И продолженья хочет.
Напилась допьяна —
И в небе исчезает,
И снова тишина
Безмолвием терзает...

Ворвался громкий свист
В мою больную душу:
Косматый культурист
Молчание нарушил.

Приблизился герой
И преклонил колена,
Хотел меня спасти
От векового плена.
А я давным-давно
Ждал этого прихода.
Теперь мне все равно,
Мне не нужна свобода.

Я так привык к борьбе
И этой сладкой боли...
Иди, мужик, к себе,
Я не хочу на волю.

Ася Косичкина

* * *

От меня до тебя расстояние в метрах —
Только линия вечности, поперек или вдоль,
Преграждает нам путь в пустоте и во млечности,
Постоянно ища к этой жизни пароль.

Как относится черное к белому,
Как похожи две мутные капли воды,
Мы с тобою разгульные, мы с тобою несмелые,
Мы с тобою без счастья, а порой без беды.

Что-то лучшее — лучшему, остальное не делится.
Мир порою так тесен, а порой так велик.
Хоть порою не верится, все же все перемелется:
Этот век, этот день, этот час, этот миг.

Юлия Дмитрияди

ТАРАКАН

Ты наступил на меня ногою,
Размазал меня по ковру...
Ты раздавил меня... черт с тобою,
Я знал, что когда-нибудь так умру.

Я разделил с тобой скудный ужин
И крошки за тобой подбирал.
А ты не знал, как ты был мне нужен,
Ты ничего обо мне не знал.

Не знал, как бегал я за тобою,
Не знал, как стать твоим другом хотел...
Ты наступил на меня ногою,
Почистил зубы и лег в постель.

Сергей Бригидин

* * *

И снова приходит ночь.
Мой гость этой ночью —
Весенний дождь.
Дождь — мой друг,
И пусть говорят тебе,
Что я только сон,
Никто не знает,
Как я одинок,
Но я не один, ты со мной.

ПРОГУЛКА РОМАНТИКА

Я иду по улице с температурой в голове,
Под ногами стонет усталый асфальт
И я не скрываюсь под сенью серых зонтов,
Просто я не знаю, кому что еще надо.
Игнорируя лужи и слякоть,
Слякоть и первый снег,
Я усну этой зимой,
Чтоб раствориться в весне,
Опьяненный сознанием зимнего ветра,
Я понимаю, я — живой человек.

Анна Тихонова**СТРАННЫЙ ГОСТЬ**

Приди ко мне, вечерний странник,
И посиди со мной в тиши,
Ты прилети крылатой птицей,
Крылом тихонько обними.
Скажи, как жить, куда податься
И что мне ждать от суеты?
Вечерний странник не ответил,
Ушел сквозь стену темноты.

* * *

И мозг отравит горький эликсир
Исхоженных дорог, услышанных мелодий,
И книга жизни вытерта до дыр,
И философия давно не в моде.

И полная луна, мешая жить,
Разбередит души больные раны,
И вроде жить по жизни не тужить,
Но лезут в небеса иллюзий храмы.

Вот так и прешь. На голову ведро,
Рука в кулак, а на ногах оковы.
В груди молотит сердце тяжело
И застилает взгляд закат бордовый.

И страшный шум разрушит тишину
И затрясет в груди твоей мембраны.
С тоской в груди ты смотришь на луну
И бритвой рвешь своей свободы краны...

Из рваных труб струится тяжело
На грязный пол багровая свобода.
И ты уходишь в мутное окно —
Ведь вот же за окном к луне дорога.

Иллюзий призрачные тени
Глаза затянут пеленой.
Кровь медленно течет по вене,
Ты тихо шепчешься с луной.

И время, вечное движенье,
Вдруг остановится на миг.
Ты останавливаешь время,
Ты на мгновенье все постиг.

Но вот мелькнул просвет сознания,
Развеял сладостный дурман,
Ты, горько охнув от отчаянья,
Полез за куревом в карман.

Linnet**МИФ**

Эвридикины побрякушки украшали ее как елку.
 По ноге золотилась змейка, не желая всерьез ужалить.
 Ей казалось, шумят не тени — погремушка в руках ребенка;
 Отраженье летело в Лету; Эвридика теряла память.

С каждым каменным поворотом вытекала душа по капле,
 Становилась холодным гостем, подземельным растеньем белым,
 Эвридика теряла зренье в винтовом коридоре мрака,
 Оставляла черты и жесты, перешагивала пределы.

Эвридикины безделушки отказались звенеть в Аиде.
 Кистеперые волны горя замахали ей плавниками.
 Звуки съжились и замкнулись, и привратник сказал: — Войдите, —
 И она проскользнула в стену и застыла в актовом зале.

Меньше малого — горсть тумана — очертанья совсем размылись,
 Все слабее ее отличья от иных матерьялов мира.
 Потерявшим свои границы черно-белый волшебник Минос
 Даже ради игры Орфея не поможет услышать лиру.

Потерявшим свои границы, находя себя снова, внове
 Узнавать за углом молчанье, как единственный символ веры,
 Но у них еще будет время перелить себе рыбьей крови,
 Обнаружить в себе пейзажи неживее архейской эры.

Ниткой дыма идет по кругу — не дотронулась, не задела.
 Ну и пусть им тропой-восьмеркой улетать в первозданный тигель —
 Все проходит, когда проходит он по дикой воде забвенья
 И волна подступает к сердцу ради музыки Эвридики.

Сэтavr

* * *

Боже, боже мой
 Белый свет.
 В этом мире-острове
 Правды нет.
 Как песчинки острые
 Сверхдела.
 В этом мире-острове
 Все слова.
 Все слова да денежки,
 Пот и кровь,

В этом мире-острове
Большая-любовь.

* * *

Заманиха я да затейница,
В лесу травница да свирельница,
В море нимфа я сребровласая,
В поле осень я златорясая,
Я в горах колдунья белая,
Только в городе я мышка серая.

Юс

Я приехала в этот город по вынужденным обстоятельствам со своим шестилетним сыном. Денег у меня было очень мало, и поэтому мне сдали чердак. Хорошо, что еще было тепло, потому что в деревянных стенах было полно щелей. Окна не было, но в одну самую широкую щель видно было равнину с короткой тусклой травой. Как ни странно, мне нравилось здесь, на чердаке, все подходило моему унылому состоянию. Иногда мне казалось, что тут пахнет чем-то морским. Однажды вечером, вернувшись в свое деревянное жилище, я увидела странного человека. На нем были узкие черные сапоги со шпорами, черные брюки и черная куртка. Белая рубаша с расклешенными кружевными рукавами. Он сидел в кресле-качалке и смотрел на меня. Был он очень худ, с глубоко посаженными глазами, с черными волнистыми волосами ниже плеч. Почему-то я сказала: «Здесь же нет моря!» Он отвернулся и глухо произнес: «Главное — подпилить две сваи под полом» — и видение исчезло. Грустный запах соленой воды остался. Я попросила соседа — молодого глупого паренька — посмотреть сваи под полом и, если они есть, подпилить их. Он удивился и подпилит. И тут сильный ветер толкнул чердак. Я на секунду испугалась, но увидела в щели безбрежное море. А на морской глади была тень огромного корабля с парусами...

Анастасия Максимова

НОЧЬ ?

...Летние сумерки сгущались. За горизонтом постепенно исчезал след от оранжевого солнца. Веранда дачи загорелась теплым электрическим светом. Замелькали силуэты людей, которые собирались пить чай. Я наблюдала за ними со скамейки у сарая. И теплый, но свежий воздух летнего вечера, и пепельные облака на темно-синем небе — все это было таким знакомым. Чаю мне не хотелось, я только и думала о том, чтобы время остановилось. Позади были дневные заботы, дело стояло только за болтовней и сном. Наступила пора равновесия во всем.

Трава под моими ногами стала холодной и сырой, но внутри я знала, что завтра она опять согреется, день будет купаться в благодати, а вместе с ним и весь мир. И все это сольется в гармонию.

Так я долго рассуждала про себя, иногда обращаясь к кому-то, кого я придума-

ла сама себе на этот момент. Не заметила, как выступили звезды. Как далеко они... Крыша моего дома уютно на себе Большую Медведицу, а мне так хотелось увидеть там целую луну. Свет в окнах погас, мотыльки перестали биться в окно, и я поняла, что давно пора спать.

Анастасия Сосновская

ПРОСТО ЖЕНСКАЯ ИНТОНАЦИЯ

Сентябрь, десятое

Вот ты знаешь, именно сегодня Природа сказала: «Все, Осень». Нет, я не хочу сказать, что Осень лишь пришла, я хочу сказать, что сегодня она перестала делать поблажки, перестала делиться с Летом, перестала быть прозрачной, неосязаемой и неопытной. Сегодня ей кажется, что она неуязвима, что она раз и навсегда. Но придет Зима... и уйдет Осень так же, как и Лето: спрашивая разрешения еще пожить в этом доме чуть-чуть, ведь больше некуда податься, прося еще денек на сон, еще часок на чай... Вдвоем...

Природа решила: «Осень».

Осень решила: «Гроза».

Вчера был выпит последний чай вдвоем. Они болтали, мечтали, смеялись, любили, две подруги... две сестры... две вечности... Ведь так недавно Осень пришла в этот дом гостей!.. И вот вчера она провожала Лето хозяйкой.

Они молча стоят у порога, держась за руки, глядя друг другу в глаза. Осень знает: вместе с летом уйдет ее юность, невинность. Но Природа решила. И Лето все понимает: так надо.

Сегодня будет гроза.

Испуганный до истерики Ветер ломится в окна домов.

Безумными глазами вглядывается в темноту за окнами: «Впустите!» Мечется, носится меж домов, по переулкам, улицам, щелям, швыряя во все стороны песком-снегом. Где-то на западе небрежно отмахиваются от приставучего Ветра Молнии. Коротко так, нервно, почти бессильно... спросонья. В белом пространстве воздуха сменяются отчетливо видные порывы ветра, белые ритмы. Словно узоры на стекле, кадр за кадром...

А в темной громаде дома напротив светится маленькая точка: там этой ночью тоже кутаются в уют Пурги. Слушают музыку, пишут стихи, любят...

Золотой фонд

Стефановичев

№ 1 (14) 2003



В этом году иркутская земля будет отмечать 100-летие со дня рождения замечательного поэта, нашего земляка, оставившего неизгладимый след в литературе, — Иосифа Павловича Уткина. Коротка, но полна бурными событиями была его жизнь.

Участник революционных боев в Иркутске в 1919 г., доброволец, воевавший на дальневосточном фронте, с 1922 г. — репортер иркутской газеты «Власть труда». Так с 19 лет начался путь поэта.

В 1924 г. Иркутский губком партии решает отправить Уткина учиться в Москву. С этого времени появился в столице будущий поэт — во многом неискушенный человек, влюбленный в революцию и поэзию. В Москве началась уже настоящая литературная биография Уткина. В 1926 г. вышла его первая книга стихов. Настоящий успех принесла Уткину поэма «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, равнине Исайте и комиссаре Блох».

Затем 1941 г. — фронты Второй мировой. Уткин работает в редакции газеты «На разгром врага». В это время выходят сборники его стихов «Фронтовые стихи» и «Стихи о героях».

Просто и доступно, душевно и доверительно заговорила поэзия Уткина с первых же дней войны о небывалом накале патриотических чувств советского человека, о священной ненависти к врагу, «о броне человеческой души», о подвигах народа на фронте и в тылу («Комсомолец», «Машинист», «Партизанская песня» и др.).

Особенно тепло и проникновенно пишет поэт в дни войны о любви и верности («Если я не вернусь, дорогая...», «Ты пишешь письмо мне...», «После боя»).

Летом 1944 года вышел последний сборник произведений Иосифа Уткина «О родине, о дружбе, о любви». А 13 ноября трагически оборвалась его жизнь. Уткин погиб в авиационной катастрофе, случившейся совсем неподалеку от Москвы. Погиб на взлете творческого пути, в расцвете дарования, не дожив и до сорока двух лет.

Что же является главным и определяющим в поэзии И. Уткина, по-прежнему глубоко волнующей наших современников? Одно можно сказать с уверенностью: поэт твердых творческих убеждений Иосиф Уткин и в зрелые годы оставался верным идеалам молодости. Тут необходимо сказать о теплом, проникновенном лиризме стихов Уткина, о мягкой — то веселой, то грустной — человечности, о предельной его искренности, доверительности и еще о многом-многом другом, что выделяло его своеобразный голос в поэзии 20–40-х годов.

Сегодня мы предлагаем нашим читателям несколько лирических стихотворений Иосифа Павловича Уткина.

Иосиф Уткин

КАНЦЕЛЯРИСТКА

Где хитрых ног смиренное движенье,
Где шум и дым,
Где дым и шум, —
Она сидит печальным отраженьем
Своих высокопарных дум.

Глаза расширились, раскинулись,
И реже
Смыкается у голубых границ
Задумчивое побережье
Чуть-чуть прикрашенных ресниц.

Она сидит, она глядит в окно,
Где тает небо голубое.
И вдруг...
Зеленое сукно
Ударило морским прибоем!

И люди видеть не могли,
Как над столом ее, по водам
Величественно протекли
И корабли,
И небосводы,

И как менялась бирюза
В глазах глубоких и печальных,
Пока... не заглянул в глаза
Суровый и сухой начальник...

Я знаю помыслы твои
И то,
Насколько сердцу тяжело,
Хоть прыгают, как воробьи,
По счетам черные костяшки.

1925

ВЕТЕР

Старый дом мой —
Просто рухлядь.
Все тревожит —
Каждый писк.
Слышу, ветер в мягких туфлях
Тронул старческий карниз.

Как влюбленный, аккуратен
Милый друг!
К исходу дня,
В мягких туфлях и в халате,
Он бывает у меня.

Верен ветер дружбе давней.
Но всегда в его приход
Постоит у дряхлых ставней
И, вздыхая,
Повернет.

Я не знаю, чем он мучим.
Только вижу:
Все смелей
Он слоняется, задумчив,
Длинной хитростью аллей.

И когда он, чуть печален,
Распахнулся на ходу,
То поспешно зашептались
Сучья с листьями в саду...

Я опутал шею шарфом,
Вышел... он уже готов!
Он настраивает арфу
Телеграфных проводов...
1925

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Нет, что-то есть такое выше
Разлук
И холода в руке!
Вы снились мне,
И вас я слышал
На лазаретном тюфяке.

И это вас,
Когда потухло,
Я у груди пронес назад,
Как девочка больную куклу,
Как руку
Раненый солдат...

Вы на далеком повороте,
Ни враг,
Ни друг
И не родня...
Но нет,
Но нет, вы не уйдете...
Вы не уйдете
От меня!

Нет,
Даже предаваясь плоти
С другим —
Вы слышите с другим! —
Вы нежность вашу
Назовете
Библейским именем моим.

И это выше,
Выше, выше
Разлук
И холода в руке!
Вы снились мне...
И вас я слышал
На лазаретном тюфяке.

Мне и теперь
Былое, право,
Переболеть не удалось.
И надо мною
Ваша слава
Густых
Тропических волос.

И я,
Как в милом сновиденье,
Все принимаю, без границ,
Все...
Даже узкое презренье
Полуприщуренных ресниц.
1928

ЕСЛИ Я НЕ ВЕРНУСЬ, ДОРОГАЯ

Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это — другая.
Это значит... сырая земля.

Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлuku с любимой
Ты простишь вместе с родиной мне.

Только вам я всем сердцем и внемлю.
Только вами и счастлив я был:
Лишь тебя и родимую землю
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.

И доколе дубы-нелюдимы
Надо мной не склонятся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля!
1942

ТЫ ПИШЕШЬ ПИСЬМО МНЕ

На улице полночь. Свеча догорает.
Высокие двери видны.
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,
В пылающий адрес войны.

Как долго ты пишешь его, дорогая.
Окончишь и примешься вновь.
Зато я уверен: к переднему краю
Прорвется такая любовь!

Давно мы из дома. Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома и в дыме войны!

Теплее на фронте от ласковых писем.
Читая, за каждой строкой
Любимую видишь
И Родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной...

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.
И время такое придет.
Останутся грусть и разлука за дверью,
А в дом только радость войдет.

И как-нибудь вечером вместе с тобою,
К плечу прижимаясь плечом,
Мы сядем и письма, как летопись боя,
Как хронику чувств, перечтем.

1943

СЕСТРА

Когда, упав на поле боя —
И не в стихах, а наяву, —
Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву.

Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра —
Боль сразу стала не такою:
Не так сильна, не так остра.

Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой,
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой головой!..

1943



27 декабря 2002 года исполнилось 100 лет со дня рождения иркутской поэтессы Елены Жилкиной. В двадцатые годы она вместе с Валерием Друзиным, Иосифом Уткиным, Михаилом Скуратовым участвовала в работе ИЛХО. Выпустила несколько сборников стихотворений в Иркутске и Москве. Стихи ее включались в десятки коллективных сборников и антологий.

Коренная иркутянка, она любила вой город, была привязана к Байкалу (школьные годы ее прошли в поселке Листвянка). На доме, где она жила, на улице К. Маркса, открыта мемориальная доска.

Негромкий, лирический, чистый голос Елены Жилкиной навсегда останется в поэтической памяти Сибири.

Елена Жилкина

Есть города на карте,
их — не счесть.
Но тот,
единственный,
во мне он весь,
с колючей вьюгой,
бьющей в ставни,
с пронзительным морозом
на дворе.
Кому-то город
будет так представлен:
«Летит медведем белым
в январе».
А воздух — сед,
и велики снега,
косматые метели
в двух шагах —
не убежать, не скрыться,
не распутать...
И, словно в пропасть,
вдруг скользнет нога
по встретившему утро
первопутку.
Живу
от лютой стужи вдалеке,
уже привычной
оттепель считаю.
Но вот приснятся
ели в куржаке...
Они не тают там, они не тают, —
снежинки на твоём воротнике.

БАЙКАЛЬСКАЯ ОСЕНЬ

Ошеломит,
закружит,
уведет
в мерцающие тайны листопада,
у ног лисицей рыжей пропадет,
погонит туч оранжевое стадо.

Деревьям разматывает желтый шарф,
плеснет на горы чем-то ярко-красным...
Меня не отпускают ни на шаг
байкальской осени невысказанные краски.

Все гуще синева, все жестче ветер в море,
и дальний берег дальше с каждым днем,
но все равно над деревянным молотом
горит маяк спасительным огнем.

Сквозь пламя сентября, сквозь тишину
с вершин сорвутся холода раскаты,
и закачает белую волну,
все свирепея, баргузин косматый.

В глаза осени вглядываюсь пристально...
А паровой дым, тепла не сохранив,
коснется губ моих... Стою на пристани
я,
на перила руки уронив.

* * *

Память, ты ходишь
за мной по пятам,
Тихими звездами светишь.
Что это снова маячит там,
Ты не ответишь?
Может, от инея белые дни
Смотрят из дальней дали,
Может быть, там начались они,
Радости и печали.
Не в декабре ли дуют в лицо
Ветры студено и колко.
Звякает в доме дверное кольцо
Там, на краю поселка.
Свежести леса полный глоток
Каждою той весною.
Тот молодой паровой гудок
Вечно со мною.
Значит, они никуда не ушли,
Те голоса родные...
С узенькой той полоски земли
Слушаю позывные.
К полузабытым огням иным

Будто с вершины спускаюсь.
Память, поощим созвездьям твоим
Я откликаюсь.

* * *

На темные извилины реки
я с берега гляжу из-под руки...

Я спрашиваю о ее начале,
о счастье всех начал на белом свете.
А где они, мои начала эти,
а где они живут, мои печали?

Река со мной вступает в разговор,
в тот давний, позабытый нами спор.
Но глаз теперь я от нее не прячу,
Не говорю:
«Могло быть все иначе,
все лучше, все не так...»

А как же быть мне с ожиданьем чуда?
Оно всегда за поворотом трудным,
и надо сделать только первый шаг.
Неси меня, река, неси,
кружи,
не торопись,
нахлынь и расскажи.

Ты — не пейзаж,
Ты — боль моя,
Ты — память,
встающая строптивою рекой.
Мне видится,
как голубое пламя
внезапно колыхнулось под рукой.

Что встретит речка
на своем пути?
Ветров суровость,
берег шелестящий...

А я-то знаю,
что в поток гремящий
мне дважды не войти.

* * *

Смотри, угомонился снегопад,
и от его уставшей пелены
идет как будто по земле заряд
чуть обволакивающей тишины.
Смотри, смотри,

как город посветлел:
Оделся к празднику?
Избавился от дел?
Я разговариваю с городом, с землей,
со звездным небом,
с благостью земной.
Вы слышите, ночные поезда?
Гудки протяжные мне отвечают: «Да».
Слова, еще не сказанные вслух,
по проводам уже бегут, бегут
сюда, в мой дом, что безнадежно глух...
Под снежной крышей перемен не ждут...
Как на окно замерзшее дышу —
тепла, хоть запоздалого, прошу.
Ах, утро!
Разбудив коней лихих,
стучит копытом у дверей моих.
Мне по душе тот утренний разбег
часов, опять заспоривших со мной.
Не верю я тебе, тишайший снег,
в тревожный и бессонный мой
двадцатый век.

